

СВЕТЛАНА
ПРОКЛОВА

A movie poster featuring a woman with long brown hair and green eyes, wearing a white lab coat and a stethoscope, looking directly at the camera. Behind her is a cityscape. In the sky above the city, three angels with large white wings and halos are visible. The title 'СВЕТЛАНА ПРОКЛОВА' is written in large, stylized, orange Cyrillic letters across the top. The name 'МЯСНИХ' is written in similar orange Cyrillic letters across the bottom. In the bottom right corner, there is a small white box with the word 'Шеде' in black Cyrillic letters.

МЯСНИХ

Шеде

Светлана Дроздова

Мясник

<https://litres.ru/74671423>

SelfPub; 2026

Аннотация

В центре фантастического романа — загадочное появление семи существ, напоминающих ангелов, над крупнейшими городами мира. Они заявляют о своём намерении исцелять любые болезни, и их появление сопровождается необъяснимыми физическими и психологическими эффектами.

Главная героиня — патологоанатом Дарья Воронцова, потерявшая дочь из-за неизлечимой болезни. Она скептически относится к чудесам исцеления и начинает собственное расследование природы «ангельских» способностей. Её профессиональный взгляд на проблему сталкивается с необъяснимыми явлениями.

Параллельное повествование ведётся от лица журналиста-расследователя Олега Стрижня и высокопоставленного военного Хворостова, которые также пытаются понять истинную природу пришельцев.

Роман поднимает важные вопросы: что значит исцеление? Какие механизмы стоят за чудесными выздоровлениями? И главное — какова цена такого исцеления? Автор исследует тему

доверия, научного скептицизма и этических дилемм в эпоху необъяснимых явлений.

Светлана Дроздова

Мясник

«Мясник» — детальный план романа (30 глав)

Основные персонажи

****Дарья Воронцова**** — патологоанатом, 38 лет. Сухая, вьедливая, с чёрным юмором. После смерти дочери от лейкемии ушла в патологию — «чтобы понимать, почему тело сдаётся». Живёт одна, кошка по имени Гистамин.

****Архангел (он же Рафаил)**** — лидер пришельцев. Внешне — существо ослепительной красоты, крылья из света, голос вызывает физическое облегчение у слушающих. Настоящее имя произносимо.

****Олег Стрижень**** — журналист-расследователь, 45 лет. Бывший военкор, циник, потерял ногу в Сирии. Не доверяет никому, особенно тем, кто слишком красив.

****Марина Коваль**** — первая «исцелённая». 22 года, болела лимфомой 4-й стадии. После лечения Архангелом — румяная, здоровая, фанатично преданная своим исцелителям.

****Генерал Хворостов**** — координатор взаимодействия с пришельцами от правительства. Видит в контакте стратегическое преимущество. Готов на любые компромиссы.

****Анна Воронцова (тень)**** — покойная дочь Дарьи. Появляется во снах и воспоминаниях, двигает расследование вперёд.

Глава 1. Свет с небес

I

Небо над Москвой перестало принадлежать москвичам в четверг, в два часа семнадцать минут дня.

Семь фигур зависли над городом — три над центром, четыре разнеслись по кольцу, и от каждой шла ровная белая полоса света, как от прожектора, направленного вниз, но не на землю, а сквозь неё, словно свету было всё равно, что освещать. Фигуры не двигались. Не взмахивали крыльями — хотя у каждой были крылья, длинные, сложенные за спиной, мерцающие, как иней на стекле в солнечный день. Они не касались земли, и от них не исходило ни звука.

Первое, что сделали люди, — достали телефоны. Второе

— начали плакать.

Прямые эфиры заполнили сеть за четыре минуты. Камеры дрожали, голоса сбивались. Какой-то парень на Тверской кричал в объектив: «Вы видите?! Вы видите это?!», и слёзы текли по его лицу, и он не вытирал их, и не стеснялся, и не понимал, почему плачет. Пожилая женщина на Болотной площади стояла на коленях, прижав ладони к груди, и шевелила губами. Мужчина в деловом костюме у входа в метро «Парк культуры» замер с стаканчиком кофе в руке, и кофе остывал, и он его не пил.

Никто не падал в обморок. Никто не бежал. Паника, которую ожидали все сценарии и все фильмы про вторжение, не пришла. Вместо неё пришло что-то другое — тепло. Физическое, телесное тепло, которое разливалось от груди к конечностям, как после горячего чая, как после долгого сна под тяжёлым одеялом, как после слов, которые всю жизнь хотел услышать и наконец услышал.

Потом зазвучал голос.

Не из фигур — отовсюду. Из воздуха, из телефонов, из радиоприёмников, из динамиков на столбах, из наушников, которые кто-то забыл вынуть из ушей. Голос шёл одновременно на всех языках, и каждый слышал свой. Для одних

это был мужской баритон, для других — женское контральто, для третьих — что-то среднее, бесполое, но абсолютно родное, как голос матери, как голос человека, который знает тебя насквозь и всё равно любит.

«Мы пришли исцелить. Не бойтесь».

И люди не боялись.

II

В это время в морге бывшего ковидного госпиталя на востоке Москвы пахло хлоркой, формалином и почему-то корицей — Дарья Воронцова принесла из дома печенье, потому что не успела позавтракать, и печенье лежало в пакете на верхней полке, и корица permeated всё, и формалин не мог с ней соперничать.

Морг располагался в полуподвальном помещении, окна были на уровне земли, и через них видно было только ноги проходящих мимо — в прошлое время, когда госпиталь ещё принимал живых, ног было много, суетливых, быстрых. Теперь ног почти не было. Госпиталь опустел после коронавируса, потом его перепрофилировали, потом снова почти закрыли, и морг остался работать, потому что мёртвые не уходят в отпуск.

Дарья стояла над столом, на котором лежал мужчина семидесяти четырёх лет. Метров семьдесят, худой, кожа серовато-жёлтая, с мраморным рисунком посмертных пятен на спине. Она уже вскрыла грудную клетку, уже извлекла сердце, уже зафиксировала массу — триста двадцать граммов, что немного для мужчины его комплекции, и уже записала в протокол: «Сердце: масса 320 г, миокард дряблый, цвет бурый, на разрезе тусклый». Теперь она работала с брюшной полостью.

Поджелудочная железа. Вот причина. Твёрдая, бугристая, с белесоватыми тяжами, проросшая в окружающую клетчатку. Аденокарцинома. Дарья пощупала ткань пальцами в перчатках — плотная, как дерево, как засохший кусок мыла.

— Ну что, Николай Иванович, — сказала она, обращаясь к телу, — поджелудочная — орган благодарности не знает. Ни один. Ты её режь, ты её шей, ты её жри по кусочку, а она возьмёт — и зарастёт. Как сорняк.

Николай Иванович не ответил. Он молчал уже шесть дней — с того момента, как остановилось сердце в палате интенсивной терапии, и монитор выдал ровную линию, и дежурная медсестра записала время смерти: 03:40. Дарья знала это из истории болезни, но не из сочальствия читала — из про-

фессиональной привычки. Ей нужно было понимать, сколько времени прошло между смертью и вскрытием, чтобы оценить посмертные изменения.

Она вырезала фрагмент опухоли, уложила в кассету, подписала номер. Гистамин — кошка — сидела на стуле у двери и умывался. Гистамин был рыжим, с белыми лапами, и назван так не в честь аллергии, а в честь гистамина — медиатора воспаления, который Дарья считала самым честным веществом в человеческом теле. Он не притворяется. Он делает то, что должен: расширяет сосуды, вызывает отёк, зуд, покраснение. Чистая реакция. Никакой скрытой повестки.

Гистамин пришёл в морг три года назад, котёнком, через вентиляционную решётку, и Дарья не стала его выгонять. Кот в морге — не причуда. Кот — это единственное живое существо в помещении, где всё остальное мертво. К тому же Гистамин умел чувствовать, когда Дарье было плохо, и тогда он прыгал ей на колени и мурчал, и это мурчание было низким и вибрирующим, как работа холодильника, и от него становилось не лучше, но тише. Тише — уже немало.

Радиоприёмник на полке — старый, с циферблатом и кнопкой, хранившийся со времён, когда в морге ещё слушали «Маяк» — был включён. Дарья включала его, когда работала, потому что тишина в морге была не обычной тиши-

ной, а тишиной, которая давила, которая заползала в уши и устраивалась там, как вода в затонувшей лодке.

Сначала по радио шла музыка — что-то классическое, Дарья не разбирала, что именно, — потом музыка оборвалась, и зазвучал голос диктора:

«...экстренное сообщение. Над столицами крупнейших государств появились неопознанные объекты. По сообщениям очевидцев, над Москвой, Вашингтоном, Пекином, Лондоном, Парижем, Дели и Токио зафиксированы семь светящихся фигур, по описанию напоминающих...»

Пауза. Диктор запнулся. Дарья услышала, как он шуршит бумагой.

«...напоминающих ангелов. Фигуры транслируют сообщение, которое слышат на всех языках. Текст сообщения: „Мы пришли исцелить. Не бойтесь“. Мы прервали вещание для экстренного выпуска. Ожидается заявление президента...»

Дарья выпрямилась. Перчатки были в крови — тёмной, почти чёрной, свернувшейся. Она посмотрела на радиоприёмник, потом на Николая Ивановича, потом снова на радиоприёмник.

— Слышишь, Николай Иванович? — сказала она. — Ангелы.

Николай Иванович молчал. Гистамин перестал умываться и наострил уши.

Дарья слушала ещё минуту. Диктор говорил быстро, перескакивая с фактов на мнения, с официальных заявлений на репортажи с мест. Голоса из толпы — плач, восторг, молитвы. Голос какой-то женщины: «Я стояла и не могла пошевелиться, но мне было так хорошо, так спокойно, как будто меня кто-то обнял». Голос священника: «Это знамение, и мы должны быть готовы». Голос чиновника из Минздрава: «Мы изучаем ситуацию и пока не можем комментировать природу явления, но призываем граждан к спокойствию».

Потом — репортаж из другой страны. Женский голос, переводимый синхронно: «...моя дочь Марина, ей двадцать два, лимфома четвёртой стадии, мы готовились к худшему, и вот...»

Дарья протянула руку и выключила радио.

Кнопка щёлкнула. Тишина вернулась, заползла в уши, устроилась.

— Ни один бог не спас мою дочь, — сказала Дарья, обращаясь не к Николаю Ивановичу, не к Гистамину, не к себе. К воздуху. К тому, что было в воздухе, — к теплу, которое, если верить репортажам, разливалось сейчас по всем городам, по всем улицам, по всем телам. — И эти не спасут.

Гистамин мяукнул. Дарья сняла перчатки, выбросила их в жёлтый контейнер для медицинских отходов класса Б, и пошла мыть руки.

III

Она мыла руки долго. Это была привычка — не гигиеническая, а ритуальная. Когда Дарья мыла руки, она думала. Вода была горячей, почти обжигающей, и она терла запястья, и пальцы, и межпальцевые промежутки, и под ногтями, и думала.

«Исцелить любую болезнь». Любую. Не «некоторые». Не «отдельные». Любую.

Дарья Воронцова была патологоанатомом двенадцать лет. До этого — хирургом, четыре года ординатуры, два года в отделении экстренной хирургии. Она ушла из хирургии после того, как Анна заболела, и поняла, что не может резать живых, когда не смогла спасти свою. Патология — это рабо-

та с теми, кто уже не нуждается в спасении. Это честно. Это вежливо. Покойники не жалуются, не надеются, не умоляют. Они просто лежат и дают ответы — если знать, как спрашивать.

И Дарья знала. Она знала, как спрашивать ткань. Как резать её на срезы толщиной в пять микрон, как красить гематоксилином и эозином, как читать картину, как отличить некроз от апоптоза, метаплазию от дисплазии, доброкачественное от злокачественного. Она знала, что тело не сдаётся внезапно — оно сдаётся постепенно, по этапам, и каждый этап оставляет след, и след можно прочесть, и понять, и описать, и записать в протокол. И это знание — единственное, что осталось от её веры в порядок.

Анна умерла пять лет назад. Лейкемия. Острый лимфобластный лейкоз, общий тип. Диагноз поставили в шесть лет. Лечили два года. Ремиссия. Рецидив через год. Снова лечение. Трансплантация костного мозга — Дарья была донором, и совместимость была полной, и это ничего не дало. Рецидив. Ещё один. И ещё. Анна умерла в феврале, в палате детской онкологии, и Дарья держала её за руку, и монитор показывал линию, и время было 04:12, и Дарья помнила это время до секунды, потому что патологоанатом всегда помнит время.

«Исцелить любую болезнь».

Дарья выключила воду. Вытерла руки бумажным полотенцем. Посмотрела на свои ладони — чистые, сухие, с тонкой кожей и выступающими венами. Руки хирурга, которые стали руками патологоанатома. Руки, которые не смогли спасти Анну.

Если кто-то — или что-то — мог исцелить любую болезнь, то где оно было пять лет назад?

Она выбросила полотенце в мусорное ведро и вернулась к столу.

IV

Дарья села на стул, развернула протокол и начала писать. Писала она от руки — ещё одна привычка, от которой отказалась вся её кафедра, перешедшая на электронные бланки. Дарья считала, что рука связана с мозгом напрямую, и когда пишешь от руки, думаешь лучше. Возможно, это было неправдой. Но это была её правда, и она её держалась.

Протокол вскрытия № 1847. ФИО: Козлов Николай Иванович, 1952 г.р. Дата смерти: ...

Она писала, но думала не о Козлове. Она думала о том, что сказала дикторша: «лимфома четвёртой стадии». И о том, что сказала девушка, Марина — или кто-то за неё: «они знают, как устроено тело лучше врачей».

Вот эта фраза зацепилась. Не «исцелить». Не «чудо». Не «свет». А — «знают, как устроено тело».

Дарья отложила ручку.

Знать, как устроено тело. Что это значит? Это значит — понимать патогенез. Понимать, как болезнь возникает, как прогрессирует, как разрушает ткань. Это значит — иметь механизм вмешательства, который работает на уровне, недоступном нынешней медицине. Клеточном? Молекулярном? Генном? Эпигеномном?

Или — и Дарья подумала это, и мысль была неприятной, холодной, как сталь скальпеля — это значит не «лечить», а «менять». Заменять больную ткань на здоровую. Перестраивать. Пересобирать.

Дарья знала, что в медицине нет miracles. Есть вмешательства. Одни работают, другие нет. Одни понятны, другие — нет. Но любое вмешательство оставляет след. Шрам. Рубец. Изменение архитектуры ткани. Что-то, что видно под мик-

роскопом. Что-то, что нельзя подделать словами.

Она вспомнила репортаж. Не весь — только обрывки. Девушка, Марина. Румяная, улыбающаяся. Журналист спрашивал, как она себя чувствует. «Я здорова, — говорила Марина, и глаза её сияли, и это было страшно, потому что глаза не должны сиять от того, что ты здорова, — это нормальное состояние, а не повод для экстаза». — «Они прошли сквозь меня, и я почувствовала, как всё меняется. Как будто меня пересобрали. Заново».

Пересобрали. Дарья поймала это слово и держала его крепко.

И ещё — кадр. Короткий, мелькнувший на секунду. Марина поворачивала голову, и на её шее, слева, под углом нижней челюсти, был виден шрам. Маленький, тонкий, едва заметный. Будто от биопсии лимфоузла. Или от пункции. Марина его не упоминала. Журналист его не замечал. Но Дарья заметила, потому что Дарья замечала шрамы — это было профессиональное, как у музыкантов слух, как у художников зрение.

Шрам. Если Марину «пересобрали», зачем шрам? Если можно исцелить любую болезнь без следов, откуда след?

Дарья взяла ручку и написала на полях протокола, мелко, почти неразборчиво: «шрам на шее — биопсия? пункция? след вмешательства?»

V

В это время в здании на Старой площади, в кабинете с окнами, выходящими на наименьший двор, генерал-майор Хворостов сидел за столом и смотрел на экран, где беззвучно транслировались кадры из Москвы, Вашингтона и Пекина. Семь фигур. Семь городов. Свет, тепло, слёзы.

Хворостову было пятьдесят восемь лет. Лицо — квадратное, обветренное, с глубокими носогубными складками. Глаза — маленькие, цепкие, как у птицы, которая высматривает сеноедов на поле. Он не плакал. Он не чувствовал тепла. Он сидел в рубашке с короткими рукавами, и кондиционер работал, и кофе был чёрный, и папка на столе была помечена грифом «ДСП», и он думал.

Он думал не о том, что они — боги или нет. Он думал о том, что они — могут.

Если они могут лечить — значит, они могут и калечить. Если они могут собирать тело заново — значит, они могут разбирать. Если они знают, как устроено тело — значит, они

знают, как его разрушить.

Хворостов допил кофе, отставил чашку, нажал кнопку селектора.

— Синицын, — сказал он адъютанту, — собирай группу. Через полчаса. Все. И свяжи мне научного консультанта. Мне нужен кто-то, кто понимает в тканях.

Селектор хрипнул:

— Какого профиля, товарищ генерал?

Хворостов помолчал секунду.

— Патологоанатома, — сказал он. — Мне нужен патологоанатом.

VI

Олег Стрижень сидел в съёмной квартире на Кутузовском проспекте и смотрел три экрана одновременно. На одном — прямой эфир с Тверской, толпа, светящиеся фигуры. На втором — Telegram-каналы, сообщения летели потоком: «АНГЕЛЫ», «ВТОРЖЕНИЕ», «ХРИСТОС ВЕРНУЛСЯ», «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ???». На третьем — за-

падные СМИ: BBC, CNN, Al Jazeera — и заголовки были одинаковые: «Angels over the world». «Global phenomenon». «We come to heal».

Олегу было сорок пять лет. Левая нога — протез, ниже колена. Сирия, 2019-й, снайпер, которого он не заметил, потому что стоял в тени здания и разговаривал с местным fixer'ом, и не думал о снайперах, потому что устал, и усталость убивает быстрее пуль. Протез был хороший, титановый, и Олег ходил почти без хромоты, но ночами фантомная боль приходила, и нога, которой не было, чесалась, и он не мог почесать.

Олег не верил в красоту. Не в том смысле, что не ценил её, — он ценил, он любил женщин с некрасивыми лицами и умными глазами, любил старые дома с облупленной штукатуркой, любил осень в Москве, когда листья были цветом ржавчины. Но он не верил в красоту как аргумент. Красота, которая убеждает, — это пропаганда. Красота, перед которой нельзя устоять, — это оружие.

И эти фигуры были красивыми. Слишком красивыми. Ослепительно, невозможно, болезненно красивыми. Так красивыми, что люди плакали от счастья, и это было больше всего похоже не на встречу с богом, а на газовую атаку, только вместо газа — свет, и вместо удушья — восторг.

Олег откинулся на спинку кресла и потёр лицо ладонями. Фантомная нога ныла. Он думал.

Искал несостыковки. Привычка, которая спасала ему жизнь в Сирии, в Чечне, в Донбассе — смотреть не на то, что все видят, а на то, что все не замечают.

Несостыковки были. Семь фигур, семь столиц — но почему именно эти семь? Почему не Каир, не Бангкок, не Буэнос-Айрес? Москва, Вашингтон, Пекин, Лондон, Париж, Дели, Токио. Ядерные державы. Каждая — ядерная держава. Совпадение? Может быть. А может — нет.

Дальше. Послание на всех языках. Синхронно. Без задержки, без перевода, без артефактов. Это значит — не радиосигнал, не звуковая волна. Это что-то другое. Что-то, что действует напрямую на мозг. Прямо на кору. Прямо на слуховые зоны. Или — на зоны, которые отвечают за понимание, за эмоции, за доверие.

Или — за покорность.

Олег набрал номер. Трубку взяли не сразу.

— Алло, — сказал голос. Женский, ровный, уставший.

— Это Стрижень, — сказал Олег. — Олег Стрижень. Журналист.

— Я знаю, кто вы, — сказал голос. — Я читала ваши статьи. Что вам нужно?

Олег помолчал. Потом:

— Вы патологоанатом?

— Да.

— У меня есть вопрос. Если бы кто-то — или что-то — мог вылечить любую болезнь, что бы вы хотели увидеть в первую очередь?

Тишина. Потом — голос, в котором что-то изменилось, словно лёд треснул:

— Срез, — сказала Дарья Воронцова. — Я бы хотела увидеть срез.

Олег улыбнулся. Впервые за день.

— Я так и думал, — сказал он. — Можно приехать?

— Я в морге, — сказала Дарья. — Бывший ковидный госпиталь, восток Москвы. Если вас не смущает запах.

— Меня ничего не смущает, — сказал Олег. — Я был в Алеппо.

VII

Дарья положила трубку и стояла неподвижно. Гистамин прыгнул со стула и подошёл к ней, потёрся о ногу.

Она посмотрела на протокол. Козлов Николай Иванович. Причина смерти — рак поджелудочной железы, генерализованная форма. Метастазы в печень, лёгкие, забрюшинные лимфоузлы. Всё чётко. Всё понятно. Всё объяснимо. Тело сдалось по правилам, по законам биологии, по ступеням, которые можно проследить и записать.

А там, наверху, над городом, висели существа, которые говорили, что правила можно отменить.

Дарья не верила в отмену правил. Она верила в срезы. В ткань. В то, что видно под микроскопом. В то, что нельзя подделать.

Она собрала папку с протоколом, с кассетами, с дисками — всё, что было по Козлову. Потом открыла ящик стола и достала чистую тетрадь — толстую, в клетку, с обложкой цвета хаки. Она открыла её на первой странице и написала:

«Тетрадь наблюдений. „Случай Архангел". Дата: [текущая]. Наблюдатель: Воронцова Д. А., патологоанатом».

Потом — ниже:

«Вопрос 1. Что такое „исцеление" в исполнении данных существ? Механизм? Следы? Тканевые изменения? Совместимо ли с известной биологией?»

«Вопрос 2. Шрам на шее „исцелённой" Марины Коваль. Происхождение? Связь с методом лечения?»

«Вопрос 3. Если ткань меняется — то как? Замена? Перестройка? И чья ткань на выходе?»

Она закрыла тетрадь и положила её во внутренний карман халата.

И тут — на мгновение, на долю секунды — в коридоре за дверью прозвучал голос. Тихий, детский, далёкий.

«Мам, посмотри...»

Дарья замерла. Рука сжала край стола. Сердце ударило — один раз, сильно, как кулаком.

Гистамин зашипел. Потом — замолчал.

Тишина. Вентиляция гудела. Капала вода из крана, который Дарья не закрутила до конца. Кап. Кап. Кап.

Она закрыла глаза. Открыла. Прошла в коридор. Пусто. Белые стены, linoleum, холодный свет ламп. Никого.

Она знала, что это. Это бывало. Реже, чем раньше, но бывало. Анна приходила во снах, в обрывах снов, в секундах между сном и явью, в усталости, в тишине. Не как призрак — как воспоминание, которое было слишком ярким и не помещалось в голове и просачивалось наружу.

«Мам, посмотри...»

Посмотри. На что?

Дарья стояла в коридоре морга, в полуподвале бывшего госпиталя, под землёй, и над ней, над крышей, над городом, над миром висели существа, которые обещали исцелить всё.

А она — она стояла и слышала голос мёртвой дочери, и этот голос говорил: «посмотри».

Дарья вернулась в прозекторскую. Села. Положила руку на тетрадь.

— Посмотрю, — сказала она тихо. — Я посмотрю, Аня.

Гистамин запрыгнул на стол, сел рядом с тетрадью и посмотрел на Дарью жёлтыми глазами.

Дарья открыла тетрадь и добавила:

«Если они действительно знают, как устроено тело, — пусть покажут срез. Иначе это не наука. Это религия.»

Она закрыла тетрадь. Сняла халат. Повесила его на крючок у двери. Выключила свет. Вышла. Заперла морг.

Над городом горел свет. Семь фигур висели в небе, не двигаясь, не касаясь земли, и от них шло тепло, и люди на улицах плакали и молились, и верили, и не боялись.

Дарья шла по коридору госпиталя, и ей не было тепло. Ей было холодно. Она всегда была холодной, с тех пор как Анна умерла, и тепло, которое разливалось по миру, обходило её

стороной, как обходит ветер камень.

О толе не думала. Она думала о срезах. О ткани. О том, что свет ничего не значит, пока ты не увидишь его под микроскопом.

И ещё — она думала о том, что голос Анны сказал «посмотри», а не «услышь».

Не «услышь». А «посмотри».

Где-то наверху, над крышей бывшего ковидного госпиталя, проходил луч белого света. Он не проникал в морг. Морги — в полуподвале. В моргах нет окон. В моргах не видно небо.

Но Гистамин — Гистамин смотрел в стену, у которой не было ничего, кроме бетона и трубы, и его зрачки были расширены, и шерсть стояла дыбом, и он не шевелился.

Кот смотрел туда, где не было ничего.

Кот видел что-то.

Глава 2. Чудо в палате

Клиники выросли за ночь.

Не построили — не собрали — не возвели. Выросли. Какими вырастают кристаллы в пересыщенном растворе: быстро, бесшумно, по законам, которые известны природе, но неизвестны строителям. Три из семи фигур — тех, что висели над Москвой, — опустились ниже. Не на землю — ниже. На высоту трёхэтажного дома, может, чуть ниже, и замерли, и от них пошло свечение, и свечение стало плотным, и плотное стало стенами, и стены стали помещениями, и помещения — коридорами, и коридоры — палатами, и всё это заняло время, которое Хворостов потом записал в протоколе как «четырнадцать минут».

Хворостов стоял за оцеплением, в ста метрах, и смотрел. Рядом — группа: два полковника, физик из Сарова по фамилии Лебедев, начальник химической службы округа, два человека в штатском, которых он не представил и не собирался. Все смотрели. Никто не говорил.

Здания были белыми. Не белыми как краска — белыми как молоко, как кость, как первый снег на солнце. Без углов — стены переходили в потолок плавно, без линии стыка, без шва, без молдинга. Потолки излучали ровное мягкое свече-

ние, которое не имело источника: не лампы, не панели, не диоды — просто свет, как если бы воздух в помещении сам по себе светился, и светился мягко, тепло, без теней. Здания не отбрасывали теней.

Это заметил Хворостов. Стоял августовский полдень, солнце в зените, и тени от деревьев ложились на асфальт, и тени от машин ложились, и тени от людей — а от зданий клиники тени не было. Как будто солнце их не видело. Или как будто они не были здесь — не совсем здесь, не полностью, как фотография, которую положили на стол поверх других фотографий: края совпадают, масштаб совпадает, но она не лежит на столе, а висит над ним, на толщину листа, на толщину ничто.

— Лебедев, — сказал Хворостов, не поворачивая головы.

— Слушаю, товарищ генерал.

— Тени.

Физик посмотрел. Посмотрел ещё раз. Достал из кармана маленький лазер — привычка, или прибор, Хворостов не спрашивал — и направил луч на стену клиники. Луч прошёл сквозь стену. Не отразился. Не поглотился. Прошёл — как сквозь стекло, но не было стекла, стена была непрозрачной,

белой, плотной.

— Это не стена, — сказал Лебедев. Голос был тихий, и в нём было что-то, чего Хворостов не слышал от физиков раньше: растерянность. — Это не материал. Это... граница.

— Граница чего?

— Не знаю.

Один из людей в штатском — тот, что повыше, с лицом, на котором эмоции жили не дольше секунды, — сказал:

— Электромагнитный фон — ноль.

— Не может быть ноль, — сказал Лебедев.

— Может, если нет излучения. Ни электромагнитного, ни теплового, ни звукового. Приборы показывают ноль. Приборы выключаются, когда мы подносим их ближе двадцати метров. Мы меняли приборы — все одно и то же.

— Ноль, — повторил Лебедев. — Работающий объект с нулевым фоном.

— Не ноль, — сказал Хворостов. — То, чего мы не можем

измерить. Это не ноль. Это отсутствие прибора.

Он помолчал. Потом:

— Откройте проход. Мы идём внутрь.

Полковник за оцеплением качнул головой:

— Товарищ генерал, разрешение...

— Откройте.

Проход открыли. Хворостов пошёл первым. Группа — за ним, на расстоянии двух шагов, как учили.

Клиника встретила их теплом. Не физическим — не температура, термометр, который Лебедев держал в руке, показывал двадцать один градус, точно как снаружи. Тепло было другим. Оно приходило не через кожу — через что-то другое, что-то, для чего у человека не было органа, но что-то, что чувствовалось, как чувствуется чужой взгляд на затылке. Не видишь — знаешь.

Тепло входило в грудь и разливалось, и Хворостов почувствовал, как уходит тревога. Как уходит подозрительность. Как уходит всё, что он нёс с собой тридцать лет службы: на-

стороженность, готовность, привычку не доверять. Уходило — как вода из ванны, по часовой стрелке, в одну точку, и точка эта была где-то в солнечном сплетении, и оттуда — в никуда.

И Хворостов испугался. Не потому что тепло было плохим — оно было хорошим, оно было лучшим, что он чувствовал за годы, может, за всю жизнь. Он испугался потому, что понял: эмоция наведена. Кто-то — или что-то — касался его изнутри, касалось страха и забирало его, и от этого становилось хорошо, и хорошо было так, что хотелось стоять и не двигаться и стоять вечно.

Хворостов был генералом. Генералы не позволяют, чтобы их касались без разрешения.

Он стиснул зубы. Сжал кулаки в карманах. Поднатужился — не физически, а тем, что осталось от воли, от привычки контролировать, от тридцати лет решений, принятых под огнём, под давлением, под страхом. Он не позволил теплу забрать последнее. Он сохранил подозрительность — мокрую, холодную, дрожащую, как щенок, которого вытащили из воды, — но сохранил.

И никому не показал.

В этот момент голос — тот самый, который звучал из воздуха, из телефонов, из динамиков, — зазвучал внутри.

Не в ушах. В голове. Не снаружи — изнутри, как мысль, которая пришла не от тебя, но звучала как твоя, и это было самое страшное, потому что отличить было невозможно. Голос говорил:

«Вы хотите осмотреть. Осмотрите. Мы не скрываем».

И Хворостов пошёл осматривать. С-group шла за ним, и все молчали, и все чувствовали тепло, и никто из них — никто — не стиснул зубы.

К вечеру Хворостов составил отчёт. Страница первая: описание объектов, физические измерения, показания приборов. Страница вторая: впечатления группы. Страница третья — единственная, которую он написал от руки, не отдавая в печать:

*«Объект взаимодействует с психикой наблюдателя. Эффект: снижение тревожности, подавление подозрительности, индукция доверия. Субъект (я) сохранил критическую функцию волевым усилием. Остальные члены группы —

нет. Лебедев, выйдя из зоны объекта, через двадцать минут начал описывать внутренности как „прекрасные". Начальник химслужбы сказал слово „благодарь". Полковник Синицын плакал. Я — нет. Но хотел. Это первая в моей жизни ситуация, когда я хотел плакать и счёл это сигналом».*

Он положил третью страницу в сейф. Две первые — в папку «ДСП». Выпил кофе. Позвонил в Генштаб. Доложил коротко:

— Они построили клинику за четырнадцать минут. Она не отбрасывает тени. Людей от неё тошнит доверием. Прошу инструкций.

Пауза в трубке. Потом:

— Каких инструкций, генерал? Они обещали лечить рак. Вы хотите им отказать?

Хворостов положил трубку. Сел. Посмотрел в окно.

Отказать существам, которые лечат рак. Вот позиция, из которой нет выхода. Отказать — и объяснять тысячам умирающих, почему им не дали шанс. Согласиться — и пустить в дом того, кто убаюкивает.

Он не знал, что будет дальше. Но знал, что третий лист в сейфе — единственный честный документ, написанный сегодня.

II

В первый день приёма очередь была четыре километра.

Это было неточно. Никто не мерил. Но Олег Стрижень проехал на машине вдоль очереди от клиники до поста ГИБДД на шоссе, и по одометру вышло три и восемьсот, и дальше очередь уходила за поворот, и за поворотом, по сообщениям из сети, она тянулась ещё на полтора километра. Четыре с лишним. Скорая помощь, носилки, инвалидные коляски, ходунки, каталки на колёсах, детские коляски с детьми, к которым были протянуты трубки капельниц, и капельницы висели на стойках, и стойки качались, и люди держали их, и шли, и ждали.

Родители с детьми. Дети — маленькие, бледные, с лицами, на которых болезнь оставила печать, как штамп на конверте: «не доставлено». Старики с кислородными баллонами. Женщина с порт-катетером, торчащим из ключицы, и вокруг неё — семья, и семья молчит, и это было странно,

потому что очереди обычно шумные, руганные, ссорные — кто впереди, кто сзади, кто без очереди, кто не имеет права. Здесь — тишина. Не мёртвая — живая. Тёплая. Очередь не ругалась. Очередь не жаловалась. Очередь ждала — спокойно, терпеливо, как будто ожидание было не мукой, а молитвой.

То самое тепло. Стрижень чувствовал его и ненавидел. Не потому что оно было плохим — потому что было хорошим, и он знал, что хорошее, которое приходит без причины, всегда за что-то берёт. Бесплатный сыр. Стрижень был из тех, кто не ест бесплатный сыр, даже если сыр — свет, и бесплатное — исцеление.

Он шёл вдоль очереди с камерой — маленькой, ручной, не профессиональной, чтобы не пугать. Снимал лица. Снимал руки. Снимал ноги — вернее, то, что было вместо ног: культы, протезы, бинты, отёки. Снимал и думал.

Думал он вот о чём. Очередь — это индикатор. Очередь в поликлинику — значит, система не справляется. Очередь в церковь — значит, народ в беде. Очередь к чуду — значит, беда превысила систему. Четыре километра больных — это не статистика. Это приговор. Приговор медицине, науке, государству, всем, кто обещал и не смог. И вот пришли они — и обещали, и, судя по всему, смогли.

Смогли. Но как?

Стрижень подошёл к клинике. Ближе двадцати метров — не пустили, оцепление. Он остановился, поднял камеру, навёл на вход. Через вход — люди. По одному, по двое — если с сопровождающим. Медперсонала не было. Ни врачей, ни медсестёр, ни регистратуры, ни анализов, ни направлений, ни полисов. Человек заходил — и через какое-то время выходил.

Кто-то через час. Кто-то через сутки. Кто-то через двое.

Стрижень простоял три часа и снял одиннадцать «до и после». Все одиннадцать были одинаковы в главном: до — больной, бледный, согнутый, поддерживаемый, на носилках, в кресле. После — прямой, румяный, ходящий сам. И все одиннадцать улыбались. Не потому что были счастливы — или не только поэтому. Улыбка была одинаковой. Как будто её надели. Как будто она была не реакцией, а маской, и маска эта была красивой, и маска эта была тёплой, и маска эта была не их.

Стрижень записал в блокнот: «Одиннадцать. Все улыбаются. Улыбки одинаковые. Проверить».

Первого пациента, с которым удалось поговорить подробно, Стрижень нашёл на третий день. Мужчина, пятьдесят четыре года, зовут Василий Платонович, ХОБЛ, последняя стадия. До лечения — кислородная маска, не выходил из дома, не поднимался выше второго этажа, одышка в покое. После — вышел из клиники, прошёл пешком три километра до автобусной остановки, доехал домой, поднялся на пятый этаж без остановок.

Стрижень сидел с ним на кухне в его квартире в Балашихе, и Василий Платонович пил чай, и чай был чёрный, и стакан был в подстаканнике, и за окном был двор, и двор был обычный, и Василий Платонович был обычный, и это было странно — обычный человек, который три дня назад умирал, а теперь пьёт чай.

— Расскажите, что было внутри, — сказал Стрижень.

Василий Платонович подумал. Подержал стакан. Поставил.

— Знаете, — сказал он, — я всю жизнь работал на заводе. Токарем. Тридцать лет. И я знаю, что такое — деталь сломалась. Ты её снимаешь, несёшь к токарю, токарь её точит,

шлифует, ставит обратно. И работает. А тут — не так. Тут не точили. Тут... как бы это... разобрали. Меня разобрали. На части. Не больно. Но — чувствую, что каждая часть отдельно. Каждая клетка отдельно. И потом — собирают. Но в другой последовательности. Правильной. Как должно было быть с самого начала, если бы ничего не сломалось. Сначала ушла усталость. Просто — ушла, и я не заметил когда. Потом — тяжесть. Как камень с груди сняли. Потом — одышка. Я вдохнул — и вдохнул, и вдохнул, и вдохнул, и вдохнул не кончался. Потом — боль. Боль ушла последней. Когда боль ушла — осталась пустота. И в эту пустоту влилось что-то тёплое. И это тёплое — и было здоровье.

— Боль ушла последней, — повторил Стрижень. — Вы раньше чувствовали боль? Постоянно?

— Постоянно. Каждый день. Двадцать лет. Спина, грудь, суставы. Голова. Всё болело. Привыкаешь — и не замечаешь. А когда ушло — понял, как много было.

— А сейчас?

— Сейчас — не болит. Ничего. Совсем.

— Совсем?

— Совсем.

Стрижень записал. Потом:

— Василий Платонович, можно личный вопрос? Вы сожгли палец о чайник? Или ушиблись? С момента лечения — было что-нибудь?

— Было. Вчера ударил локоть о косяк. Сильно. Как раньше — искры из глаз.

— И?

— И — ничего. Ударил. Посмотрел. Синяк есть. Боли нет.

— Совсем?

— Совсем. Странно, да?

Стрижень закрыл блокнот. Допил чай. Поблагодарил. Вышел. В машине включил запись, прослушал, остановил на словах «боли нет». Прослушал ещё раз. Ещё.

Потом набрал номер.

— Воронцова, — сказал он.

— Слушаю.

— Я нашёл первого, кто согласился подробно рассказать. ХОБЛ, последняя стадия, исцелён три дня назад. Не чувствует боли. Совсем. Ушиб локоть — боли нет. Я спросил — «совсем?». Он сказал — «совсем».

Тишина в трубке. Потом — голос Дарьи, и в голосе было то, что Стрижень научился узнавать за последние дни: не удивление, не страх — интерес. Холодный, профессиональный, как скальпель.

— Приезжайте, — сказала она. — С записью. И если можно — с ним самим.

III

Марина Коваль вернулась в клинику на третий день — не как пациентка, как амбассадор.

Кадош попросили. Не голосом — Архангел передал через Хворостова, тем же внутренним способом, и Хворостов, который научился за три дня различать свои мысли от вложен-

ных, передал дальше, и Марина согласилась мгновенно, не подумав, не спросив, не обсудив.

Марина была первой. Первой публично исцелённой. Первым лицом чуда. И лицо это было красивым — двадцать два года, большие глаза, тёмные волосы, тонкие запястья, и на левом запястье — браслет больничной идентификации, который она не сняла, как будто талисман, как будто напоминание. ТВ-сюжеты, интервью, обложки. «Девочка, которая вернулась с того света». Марина улыбалась в камеру, и глаза сияли, и улыбка была — той самой. Одинаковой. Как у всех.

Дарья смотрела репортажи в морге. Стрижень принёс флешку — все эфиры, скопированные, систематизированные по дате и каналу. Она смотрела на ноутбуке, который стоял на верхней полке, рядом с печеньем с корицей, которое никто не ел, потому что Гистамин однажды попробовал и зачихал, и Дарья решила, что корица и формалин — не лучшее сочетание, и перестала покупать.

Она смотрела — и проматывала. Не вперёд — назад. Назад. Кадр за кадром. Замедляя. Останавливая.

Марина входит в клинику. Носилки. Бледная. Отёки. Порт-катетер в подключичной вене — катетер торчит, фиксируется пластырем, пластырь — телесного цвета, и Дарья

знает марку, и знает размер, и знает, что порт-катетер ставят при химиотерапии, и что лимфома четвёртой стадии — это лучи, это химия, это порт, и это — носилки. Стоп-кадр. Дарья смотрит на лицо. Лицо — не умирающее. Лицо — умершее. Глаза открыты, но в них нет ни страха, ни надежды — есть усталость, которая глубже обеих, усталость человека, который устал болеть и устал бороться и остался только в ожидании.

Дальше. Промотка. Сорок восемь часов сжаты в минуту. Марина в клинике — нет. Марина выходит из клиники — есть.

И Дарья остановила кадр.

Марина выходит. Пешком. Без поддержки. Румяная — не больно-румяная, не лихорадочная, а здорово-румяная, как после прогулки, как после сна, как после еды. Волосы — блестят. Кожа — чистая. Глаза — сияют. Она улыбается, и улыбка — широкая, открытая, и от неё становится хорошо, и Дарья замечает, что хорошо становится даже через экран, и это — неважно, потому что Дарью интересует другое.

Дарью интересует шея.

Марина поворачивает голову — лево, к камере, и на шее,

слева, под углом нижней челюсти — шрам. Тот самый. Тонкий, едва заметный, длиной сантиметра полтора. След биопсии лимфоузла. Или пункции. След вмешательства, которое было до Кадош, и которое оставило рубцовую ткань, и рубцовая ткань — не исчезла.

Дарья отмотала к «до». Посмотрела. Шрам — есть. Отмотала к «после». Шрам — есть. Не исчез.

Если «пересобрали» — почему шрам остался?

Если можно регенерировать любой орган — печень, лёгкие, кровь, мозг — почему не регенерировать кожу? Рубцовая ткань — это не болезнь. Это след болезни. Это память тела о том, что было. Если Кадош убирают болезнь — рубец остаётся. Если Кадош убирают память — рубец должен исчезнуть. Если Кадош убирают и болезнь, и память — рубец исчезнет точно.

Но рубец остался.

Дарья записала в тетрадь:

*«Вопрос 4. Шрам Коваль — единственный след, не исчезший при „пересборке“. Гипотеза: Кадош не трогают то, что не является болезнью. Рубец — не болезнь. Следствие.

Но если они не убирают следствия — значит, их метод избирателен. Если избирателен — значит, работает по критерию. По какому? Кто определяет, что болезнь, а что — нет? Они? Пациент? Или — что-то третье?»*

Она закрыла тетрадь. Открыла снова. Добавила:

«И ещё: Марина поворачивает голову. Слишком быстро. Без осторожности. Человек, у которого был катетер в подключичной вене, охраняет шею неделями. Марина — не охраняет. Марина не помнит, что у неё был катетер. Или — не чувствует».

Потом — ещё один кадр. Марина спускается по ступенькам клиники. Три ступеньки. Вторая — неровная, край сколот, Стрижень потом подтвердит, что ступенька была неровная и до клиники, часть старого санаторного фундамента. Марина оступается. Нога подворачивается — не сильно, градусов на пятнадцать, но достаточно. Нормальная реакция: мимика боли, отдёргивание, хватание за голеностоп, короткое «ай» или «чёрт».

Марина — не морщится. Оступается, выравнивается, идёт дальше. Не потому что терпит. Дарья видела терпящих. Терпящие замирают. Терпящие сжимают челюсти. Терпящие делают паузу — короткую, involuntary, долю секунды, —

и потом идут. Марина не сделала паузы. Марина не заметила.

Дарья пересмотрела кадр пять раз. Потом ещё три. Потом выключила ноутбук.

— Гистамин, — сказала она вслух. — Она не почувствовала.

Гистамин спал на стуле, свернувшись клубком. Он не отреагировал.

Дарья открыла тетрадь и дописала:

«Вопрос 4 (продолжение). Отсутствие болевой реакции при травме. Марина Коваль оступает — нет реакции. Болевые рецепторы — интактны? Модифицированы? Отключены? Если отключены — почему? Боль — не болезнь. Боль — сигнал. Зачем убирать сигнал?»

Она отложила ручку. Посмотрела на Гистамина.

— Новорождённые тоже не чувствуют боли так, как взрослые, — сказала она коту. — Их нервная система ещё не настроена. Интересно, правда?

Гистамин открыл один глаз. Жёлтый. Немигающий. По-

том закрыл.

IV

Совещание было в среду, в десять утра, в здании на Старой площади, в переговорной, которая была привычной — дубовый стол, кожаные кресла, флаг в углу, кондиционер, работающий ровно, как метроном. Привычной — и поэтому особенно страшной, потому что вокруг привычного было непривычное: на экране у стены — не карта, не график, не слайды, а трансляция из клиники, живая, беззвучная. Люди заходили. Выходили. Улыбались.

Хворостов сидел во главе стола. Справа — министр здравоохранения, полный, лысый, с лицом человека, который три дня назад считал себя самым важным человеком в системе, а теперь понимал, что система — не его. Слева — министр обороны, худой, жилистый, с лицом, на котором ничего не было, и это означало, что внутри — много. Напротив — представитель ФСБ, которого Хворостов знал по фамилии — Коротков, и по привычке — никогда не удивляться. И — научный консультант.

Дарья сидела в конце стола. Халат она сняла — оставила

в морге, надела серый пиджак, который был ей велик, потому что куплен на распродаже, где не было её размера, и она решила, что пиджак, который велик, лучше пиджака, который мал, и это была единственная компромиссная позиция, которую она допускала в жизни.

Она не знала, зачем здесь. Хворостов позвонил вчера, вечером:

— Воронцова, мне нужен научный консультант. Вы согласны?

— На консультацию чего?

— На консультацию меня. Мне нужен кто-то, кто понимает в тканях и не плачет от счастья.

Дарья помолчала.

— Я не плачу, — сказала она. — Ни от счастья, ни от чего.

— Вот именно.

И она согласилась. Потому что это был единственный способ получить доступ к данным изнутри. Из морга — она видела срезы мёртвых. Из клиники — она могла увидеть срезы

живых. Если ей дадут.

Архангел не присутствовал. Он — присутствовал. Не физически — его не было в комнате, ни в каком виде, ни световом, ни материальном. Но он был. Дарья почувствовала его раньше, чем другие, потому что была начеку, и потому что Гистамин утром, когда она уходила, не подошёл к ней, а забился под стол и не вышел, и это был знак, и она знала.

Голос зазвучал в голове. Не в ушах — в голове. Тихий, тёплый, бесполой, родной. Родной — как голос матери, как голос человека, который знает тебя и любит тебя, и Дарья подумала: я не мать. Моя мать умерла. Этот голос — не её. Чей — он, тогда?

«Мы предлагаем неограниченное сотрудничество, — сказал голос. — Мы лечим всех. Без исключения, без оплаты, без условий. Взамен — одно: территория. Семь участков. По одному в каждой стране. Ничего больше».

Министр обороны — тот, худой, жилистый — заговорил первым:

— Что мешает вам развернуть на этих участках что-то кроме клиник?

Пауза. Потом голос:

«Вы не можете контролировать то, чего не понимаете. Но вы можете наблюдать. Мы ничего не скрываем».

И это звучало — честно. Абсолютно честно. Дарья почувствовала, как слово «честно» входит в грудь, как тепло, как убеждение, и отдёргнулась — не физически, а внутренне, как отдёргивают руку от горячего. И подумала: если эмоция наведена, то и честность — наведённая. Если они могут убирать страх — они могут внушать доверие. И доверие, которое внушено, — не доверие. Это подчинение.

Она посмотрела на Хворостова. Хворостов слушал. Лицо — каменное. Желваки на скулах ходили — медленно, ритмично, как маятник. Он чувствовал то же, что она. И он — не поддавался. И — подписывал.

Потому что — как не подпишешь? Как откажешь существам, которые лечат рак, рассеянный склероз, муковисцидоз, ВИЧ? Как скажешь: нет, не нужно, мы сами? «Сами» — это четыре километра очереди. «Сами» — это дети, которые не доживают до десяти. «Сами» — это паллиативные отделения, где лежат и ждут, и ждать — нечего.

Хворостов подписал. Рука не дрожала. Желваки — ходи-

ли. Он подписал, потому что понимал: это ход, от которого нет отступления. Отказать — невозможно. Согласиться — необратимо.

После — короткий разговор наедине. Хворостов и Дарья. Кабинет. Дверь закрыта. Кондиционер гудит.

— Вы заметили что-нибудь? — спросил Хворостов.

— Они не дают срезов, — сказала Дарья.

— Что?

— Ни один пациент не обследован после лечения. Ни одна биопсия. Ни один анализ. Я запросила — мне ответили, что в этом нет необходимости, потому что пациент здоров. Но я — патологоанатом. Мне нужна ткань. Мне нужен срез. Иначе я не могу подтвердить, что произошло. Иначе это не наука. Это...

— Религия, — закончил Хворостов.

— Я хотела сказать — anecdote. Но религия тоже подходит.

Хворостов посмотрел на неё. Долго. Оценивающе. Потом:

— Запросите официально. Через меня. Если откажут — это уже ответ.

Дарья кивнула. Потом:

— И ещё. Температура.

— Что — температура?

— В переговорной. Термометр показывает двадцать один градус. Но мне жарко. Вам?

Хворостов помолчал.

— Жарко, — сказал он. — Всем жарко. Никто не обратил внимания.

— Тепло, — сказала Дарья. — От них. Даже когда их нет. Даже когда они — через голос. Тепло остаётся. И оно не температурное. Оно — другое.

Хворостов открыл сейф. Достал третий лист — тот, рукописный. Протянул Дарье. Она прочитала. Вернула.

— «Тошнит доверием», — прочитала она. — Хорошая

формулировка.

— Это не формулировка. Это диагноз.

V

Мир ликовал.

Это было неточно. Часть мира — ликовала. Другая — наблюдала. Третья — молчала. Но ликующая часть была громкой, и её громкость заглушала всё остальное, как оркестр заглушает шёпот, и оркестр играл, и шёпот — шептал.

Ватикан заявил, что «не берётся квалифицировать природу явления». Это был язык, который Дарья знала по-своему: когда патологоанатом пишет «не исключено», это значит «да, но я не подпишусь». Когда Ватикан пишет «не берётся», это значит: «мы думаем, но сказать не можем». Раввинат — осторожное «наблюдаем». Исламские богословы — разделились. Половина — «знамение». Половина — «испытание». Обе половины — правы, потому что знамение и испытание — одно и то же, если смотреть с двух сторон.

Учёные — растеряны. Данных — нет. Процесс — не опи-

сан. Механизм — не понятен. Результат — налицо. На лице. В каждом лице, которое выходит из клиники румяным, сияющим, улыбающимся. Науке нужно — опубликовать, проверить, повторить. Кадош не публикуют. Кадош не проверяются. Кадош — повторяются, но каждый раз — по-своему, и повторить в лаборатории невозможно, потому что лаборатории нет, есть белое помещение без мебели, и в нём — свет, и всё.

Социальные сети. Хэштеги — #Исцеление, #Кадош, #АнгелыСредиНас. Видео: «вот моя бабушка, у неё был Альцгеймер, а сейчас она помнит все мои дни рождения». «Вот мой сын, муковисцидоз, дожил до десяти лет вопреки прогнозам, а теперь — бегают». «Вот мой муж, ВИЧ, ядрёный, терминальная стадия, а теперь — отрицательный. Отрицательный. Тест — отрицательный». Слёзы. Восторг. Благодарность. Тысячи, миллионы благодарностей, и благодарности текли, как вода, как свет, как тепло, и в них тонуло всё — сомнение, подозрение, вопрос.

Потому что спрашивать — было стыдно. Спрашивать «как» — значило сомневаться. Сомневаться — значило отказывать в доверии. Отказывать в доверии — значило быть тем, кто против исцеления, против больных, против детей, против матерей, против жизни. И спорить было невозможно — не потому что не с чем, а потому что аргумент «они лечат

рак» был неотбиваем. Любой вопрос тонул в нём, как камень в океане: камень тяжёлый, но океан — больше.

Но голоса были. Тихие. Единичные. Маргинальные.

Философ — Стрижень нашёл его в ЖЖ, где философ вёл дневник с 2004 года и где оставалось тринадцать подписчиков — написал: «Если убрать боль, уберёшь и сигнал. Тело без боли — тело без телефона. Что произойдёт с человеком, который не может позвонить, когда ему плохо?»

Биолог — анонимно, через VPN, через Tor, через три прокси, потому что боялся, и страх его был понятен, потому что спорить с исцелением — означало быть врагом исцеления, а быть врагом исцеления — означало быть врагом всех, кто исцелён, и всех, кто ждёт исцеления, и всех, кто молится об исцелении, — биолог написал: «Боль — это не побочный эффект. Это интерфейс. Самый древний, самый базовый, самый честный интерфейс в организме. Что будет с телом, которое перестало получать отчёты?»

И ещё — врач. Гериатр, из Нижнего, женщина, шестьдесят один год, тридцать пять лет практики. Стрижень нашёл её через знакомых, позвонил, она говорила тихо, и Стрижень включил запись, и запись была тихой:

«Я тридцать пять лет работаю со стариками. Я знаю, что такое боль. Я знаю, что боль — это не враг. Боль — это сторож. Когда у старика болит нога — он не наступает. Если убрать боль — он наступит. И сломает. И не узнает, что сломал, потому что — не больно. И пойдёт дальше. И сломает ещё. Боль — это не наказание. Это инструкция. Убрать инструкцию — значит пустить человека в минное поле без карты.»

Стрижень собирал эти голоса. Вёл отдельный файл — «Диссиденты от исцеления». Философ. Биолог. Гериатр. Физик из Сарова — Лебедев, который после визита в клинику две недели молчал, а потом написал Хворостову короткое: «Я не могу описать то, что видел. Это не значит, что это плохо. Это значит, что у меня нет языка». Но в частном разговоре со Стрижнем сказал другое: «Здания не отбрасывают тени. Это не метафора. Это физика. А физика не врет. Если объект не отбрасывает тени — он не отражает свет. Если он не отражает свет — он не поглощает свет. Если он не поглощает и не отражает — он не взаимодействует со светом. Как он тогда виден?»

Стрижень показал файл Дарье. Они сидели в морге. Гистамин — на полке, не у Дарьи, а у радиоприёмника, и это было странно, потому что радиоприёмник был выключен.

Дарья прочитала. Вернула.

— Пока они — маргиналы, — сказала она. — Но они задают правильный вопрос.

— Какой?

— Не «как они это делают?». Правильный — «что они убирают, когда убирают болезнь?».

— Вы думаете, они убирают не только болезнь?

— Я думаю, что болезнь и боль — разные вещи. Болезнь — это поломка. Боль — это сигнал о поломке. Можно починить поломку и оставить сигнал. Можно убрать сигнал и не починить поломку. А можно — убрать и то, и другое. И вот тут — вопрос: если убрать сигнал, останется ли человек? Или останется тело, которое не знает, что ему плохо?

Стрижень записал. Он всегда записывал. Блокнот — маленький, кожаный, в карман пиджака. Левая рука — правая была занята ручкой, и он не думал об этом, но если бы подумал — вспомнил бы, что раньше, когда хотел записать, доставал блокнот правой. Теперь — левой. Это ничего не значило. Или значило.

VI

Дарья получила доступ через неделю.

Хворостов — выбил. Официальный запрос, от его имени, от Минобороны, от координационного совета. Формулировка: «Научное сопровождение программы взаимодействия. Исследование тканевых изменений у пациентов клиники». Архангел — ответил. Не отказал. Тем же внутренним голосом, который теперь звучал в голове Хворостова, как сосед по квартире: *«Пусть смотрит. Мы не скрываем»*.

Дарья ехала в клинику на служебной машине. За рулём — солдат, молчаливый, с лицом, на котором было написано «мне приказали, я везу». Рядом — Стрижень. Дарья не звала. Он сам. «Я еду. Если не хотите — высажу меня у поворота». Дарья не высадила.

Клиника — та же. Белая. Без углов. Без теней. Дарья вышла из машины и остановилась. Тепло. Опять. Оно было здесь, как погода, как климат, как воздух — неexternal, а внутренний, и Дарья стиснула зубы, и привычка — уже привычка — не позволить, не поддаться.

— Странно, — сказал Стрижень рядом. — Я чувствую, что здесь хорошо. Но мне — не хорошо. Понимаете?

— Понимаю, — сказала Дарья. — Они делают «хорошо». А ты — нет. Разница — между «делать» и «быть».

Внутри их пустили. Без досмотра, без проверки, без документов. Белый коридор — без дверей, без ручек, без указателей. Стены — белые, потолок — светящийся, пол — тёплый, мягкий, как резина, как кожа. Гул — не слышимый, а ощущаемый, как вибрация, как Work низкочастотный, от которого резонирует грудная клетка.

И — patients. Дарья увидела их в палатах — если палатами можно назвать пространства без стен, без коек, без оборудования, просто — области, где люди лежали, или сидели, или стояли, и свет — был, и свет — делал что-то, и Дарья не понимала что, но видела: люди менялись. На глазах. Бледность уходила. Одышка — уходила. Отёки — уходили. Как будто тело вспоминало, каким оно должно быть, и — становилось.

Архангел — не присутствовал. Но — присутствовал. Голос — в голове:

«Вы хотите взять образцы. Берите».

Дарья достала портативный набор. Скальпель — одноразовый, стерильный. Кассеты для биопсии — четыре штуки. Контейнеры — стерильные, с формалином. Перчатки. Она надела — привычно, быстро, как в морге, и это было единственное привычное в непривычном.

Трое согласились. С их — письменного согласия, которое Дарья составила сама, потому что не доверяла ничему, что было в клинике, и юридически — не имела права, и Хворостов потом подпишет, и это будет — ретроактивно, и это было — не по правилам, но Кадош не давали правил, они давали — разрешение, и разрешение — не правила.

Первый — мужчина, шестьдесят лет, меланомы, генерализованная форма. Исцелён три дня назад. Кожа — чистая, без невусов, без пигментации, розовая, как у младенца. Дарья взяла скальпель. Маленький разрез — на предплечье, два миллиметра, достаточно для биопсии.

Кровь — пошла. Алая, нормальная, сворачивается. Кожа — режется, как кожа. Всё — как у живого.

Но — реакции не было.

Мужчина не моргнул. Не дёрнулся. Не отдёрнул руку. Он смотрел — с интересом, как смотрят на аквариумную рыбку,

с любопытством, без участия.

— Вам не больно? — спросила Дарья.

— Нет, — сказал мужчина. — Совсем. Должно быть?

— Должно.

Мужчина улыбнулся. Той самой улыбкой — одинаковой, тёплой, как маска.

— Странно, — сказал он. — Я так долго боялся боли. Все эти годы. Каждую процедуру, каждое обследование. А теперь — нет. И я не знаю, хорошо это или плохо.

Дарья вложила образец в кассету. Подписала: «№ 1. Кожа, предплечье. Пациент — м., 60 лет, меланома, исцелён. Реакция на разрез — отсутствует».

Второй — женщина, сорок пять лет, рассеянный склероз. До лечения — инвалидность, кресло, спастика, тремор. После — ходит, говорит, двигается. Дарья проверила рефлексy. Сухожильные — отсутствуют. Все. Менингеальные — отрицательные. Болевые — отрицательные. Женщина здорова по всем критериям, которые можно измерить — но нервная система не отвечает на раздражители так, как отвечает здоро-

вая. Она — здорова. Но по-другому. По-новому. По-неизвестному.

Дарья сделала разрез. Тот же результат — кровь, кожа, ноль реакции.

— Вы чувствуете прикосновение? — спросила Дарья.

— Чувствую, — сказала женщина. — Тепло, холод. Давление. Но — не боль. Боль ушла. Всё ушло. Знаете, как будто в комнате горел свет, и свет был — болью, и его выключили, и осталось — ничего. Не темнота. Ничего. Пустота. А потом — пустота наполнилась, и наполнилось — хорошим.

— Хорошим — это чем?

— Не знаю. Просто — хорошим. Спокойным. Тёплым.

Дарья записала: «№ 2. Кожа, плечо. Пациент — ж., 45 лет, РСР, исцелена. Сухожильные рефлексy отсутствуют. Болевая реакция — отсутствует. Тактильная, температурная чувствительность — сохранены».

Третий — молодой человек, двадцать восемь лет, ВИЧ, терминальная стадия. Исцелён два дня назад. Дарья взяла биопсию. Результат — тот же. Ноль реакции. Ноль рефлексy.

сов. Ноль боли.

Она вышла из клиники. Стрижень ждал у машины.

— Ну? — спросил он.

— Не чувствуют, — сказала Дарья. — Никто. Ни один. Скальпель — кровь — ноль. Рефлексы — ноль. Боль — ноль. Они здоровы. Но их нервная система — молчит.

В морге — ночью. Дарья сидела за микроскопом. Срезы — тонкие, пять микрон, окрашенные гематоксилином-эозином, на предметных стёртых стёклах, под покровными. Она смотрела.

Ткань — здоровая. Клетки — нормальные. Архитектура — сохранена. Эпидермис, дерма, гиподерма. Коллагеновые волокна — упорядочены. Сосуды — нормальные. Железы — нормальные. Нет признаков опухоли. Нет признаков воспаления. Нет признаков дегенерации. Всё чисто.

Слишком чисто.

Дарья смотрела на срез кожи — и сравнивала. У неё были

срезы — свои, из архива, от здоровых людей, от тех, кто умер от травмы, не от болезни. Нормальная кожа — нестерильна. В нормальной коже есть фоновое воспаление — минимальное, незаметное, но есть: единичные лимфоциты, единичные макрофаги, следы повседневных микротравм, следы бактериальной флоры, следы иммунного ответа. Нормальная кожа живая — и живость её в том, что она борется. Постоянно, незаметно, с бактериями, с повреждениями, с миром.

В коже исцелённых — не было ничего. Ни лимфоцитов. Ни макрофагов. Ни следов. Ткань — идеальная. Как новая. Как сошедшая с конвейера. Как напечатанная.

И — нервные окончания. Они были. Морфологически — интактны. Миелиновые волокна — нормальные, с правильной толщиной миелина, с правильным диаметром аксона. Нервные волокна — есть. Нервные волокна — здоровы. Нервные волокна — не работают.

Дарья записала:

*«Вопрос 5. Ткань исцелённого — интактна, но „обнулена“. Нет следовой информации о перенесённых заболеваниях. Нет рубцовой ткани (кроме шрама Коваль — исключение, загадка). Нет фонового иммунного ответа. Тело — как новая модель, сошедшая с конвейера. Нервные волокна —

морфологически интактны, функционально — молчат. Вопрос: чья ткань? Если „пересобрали“ — по какому чертежу? Если по человеческому — почему отсутствие боли? Если по чужому — почему выглядит человеческой?»*

Стрижень приехал в одиннадцатом. Постучал. Дарья открыла. Он вошёл, снял ботинки, не спрашивая — привычка. Принёс бутерброды — не спрашивал, ела ли. Она не ела. Он знал.

— Покажите, — сказал он.

Дарья показала. Срезы. Микроскоп. Олег смотрел — долго, молча. Он не патологоанатом, он журналист, и гистология для него — как китайский: иероглифы видны, смысл — нет.

— И что это значит? — спросил он наконец.

Дарья села. Откинулась. Посмотрела на потолок — белый, с трещиной посередине, которая шла от угла к лампе, как река на карте.

— Это значит, — сказала она, — что они не лечат. Они — пересобирают. Берут чертёж — и строят заново. Но чертёж — не человека. Ткань выглядит человеческой, но ведёт себя как... как идеальная копия. Как будто кто-то напечатал орган

на принтере, и принтер очень хорош, но принтер — не наш.

Стрижень помолчал.

— То есть — они не люди?

— Я не сказала «не люди». Я сказала — принтер не наш. Ткань — человеческая. Клетки — человеческие. Но — без истории. Без памяти. Без следа. Человек, который прожил жизнь, носит её в ткани — каждый шрам, каждая инфекция, каждый ушиб. Это — память тела. У исцелённых — нет памяти. Тело — новое. Чистое. Белое. Как... их клиники.

Гистамин — спал. Спал на верхней полке, рядом с печением, которое всё ещё было там, и корица давно выветрилась, и формалин взял верх, и пахло — формалином. Но когда Дарья принесла контейнеры с биопсиями из клиники — раньше, днём — Гистамин впервые в жизни не подошёл. Кот забился под стол — под тот, за которым Дарья обычно сидела — и не вышел до утра. Дарья заметила. Дарья всегда замечала Гистамина, потому что Гистамин был — индикатором, как лакмус, как термометр, как счётчик Гейгера. Кот чувствовал раньше людей. Кот чувствовал — то, чего люди не умели, или не хотели, или — разучились.

Она не сказала Стриженю про кота. Это было — её. Меж-

ду ней и Гистамином, между ней и стенами морга, между ней и Анной, которая была далеко, и которая — молчала.

Пока — молчала.

VII

Дарья не могла заснуть.

Лежала на кушетке в ординаторской — кушетка была узкая, жёсткая, с виниловым покрытием, которое липло к коже, и подушка была тонкая, и одеяло — колючее, казённое, и всё это было знакомо, потому что Дарья спала в морге чаще, чем дома. Дом — был пуст. Дом — был тих. Дом — был там, где Анна больше не плакала, не смеялась, не звала. В морге — не было тише. В морге — было честнее. Мёртвые — не претендуют на живое.

Гистамин свернулся у ног. Не мурлыкал. Молчал. Это было — нормально, для ночи, для морга. Но — ненормально для Гистамина, который мурлыкал всегда, даже во сне, даже мёртвой ночью, тихо, еле слышно, как мотор на холостом ходу. Сегодня — молчал.

Дарья думала о боли.

Не о той боли, которую измеряют шкалой от одного до десяти, и не о той, которую лечат парацетамолом, и не о той, от которой кричат. О — другой. О той, которая — сигнал. О той, которая — сторож.

Боль — это не враг. Боль — это страж. Это — часовой, который стоит на стене и кричит: «кого-то! сюда! что-то не так!». Убери часового — и кто-то войдёт. Кто-то — или что-то. В дом, где нет сторожа, войдёт кто угодно. Тело без боли — тело без сторожа.

Она вспомнила — Анну. Последние дни. Январь. Палата детства. За окном — снег, и снег был серым, потому что небо было серым, и палата была белой, и Анна была белой, и всё было белым и серым, и цвета не было, и Дарья думала: где цвет? куда он делся? — и потом понимала: цвет — ушёл из Анны, и Анна была прозрачной, и сквозь неё было видно подушку, и простыню, и бинт, и — всё.

Анна плакала от боли. Дарья ненавидела боль — ненавидела так, как ненавидят только то, что мучает твоего ребёнка, и эта ненависть была — единственной, что у неё осталось, кроме тетради, и скальпеля, и микроскопа, и Гистамина.

И вот — пришли. Пришли и — убрали боль. Убрали болезнь. Убрали смерть. Дали жизнь. И мир ликовал, и мир был прав, потому что рак — это зло, и рассеянный склероз — это зло, и ВИЧ — это зло, и любое зло, которое убивает детей, — зло, и любое добро, которое убивает зло, — добро.

Но Анна умерла с болью. И в боли — была любовь. Дарья держала Анну за руку, и Анна сжимала в ответ, и сжатие было слабым, и было болью, и оно значило: «я ещё здесь, я ещё чувствую тебя, мама, я ещё держусь». Если бы не боль — Анна не сжала бы. Если бы не боль — Анна не знала бы, что Дарья рядом. Боль была — последним языком, на котором они говорили, когда все остальные языки — замолчали.

Если бы Кадош пришли на пять лет раньше — Анна была бы жива. Здорова. Без боли. И Дарья не знала бы, что такое потерять ребёнка. И не было бы морга, и тетради, и Гистамина, и ночей на кушетке, и запаха формалина, и — всего.

Но если бы Кадош пришли на пять лет раньше — Анна была бы жива. И не чувствовала бы боли. И не сжимала бы руку. И не плакала бы. И не смеялась бы — потому что смех, который не знает боли, — это... что? Радость? Или — отключение?

Дарья открыла тетрадь. Ручка — шариковая, синяя, с по-

лупустым стержнем, которую она не меняла, потому что привыкла, и потому что полупустой стержень заставлял писать быстро, а быстро — значит, не думая, а не думая — значит, честно. Она писала:

«Вопрос 6. Если убрать боль — что останется? Не в теле. В человеке. Что делает человека человеком — наличие болезни или способность страдать? Если ответ — «и то, и другое», то что строят Кадош: здоровых людей или новую породу, которая не знает, что ей больно?»

Она закрыла тетрадь. Положила ручку сверху. Лежала.

Тишина. Вентиляция — гудит. Капает — из крана, который она опять не закрутила. Кап. Кап. Кап. Гистамин — молчит. Жёлтые глаза — закрыты. Лапы — подогнуты. Хвост — вокруг тела, как обруч.

И тут —

Голос.

Тихий. Детский. Далёкий. Не в коридоре — не в морге — не снаружи. Внутри. Как в первый раз. Как в конце первой главы. Но — другой.

Не «посмотри».

«Мам, почему мне не больно?»

Дарья села. Рывком. Кушетка скрипнула. Сердце — один удар, сильный, как кулаком в грудину.

Гистамин открыл глаза. Жёлтые. Огромные. Зрачки — расширены, как блюдца, как два черных солнца. И смотрел — не на Дарью. Смотрел — мимо. В стену. В бетон. Туда, где — ничего. Где — стена, и за стеной — земля, и за землёй — ночь, и за ночью — город, и над городом — свет, и в свете — фигуры, которые не двигались, и не касались земли, и от них — шло тепло, и тепло — было болью, которую забрали, и — не вернули.

Тишина. Кап. Кап. Кап.

Дарья встала. Подошла к стене. Приложила ладонь. Бетон — холодный. Обычный. Шершавый. Под ладонью — ничего. За ладонью — ничего. В стене — ничего.

Но она — слышала.

И знала — что это значит. Не галлюцинация. Не усталость. Не сон. Не воспоминание, которое просочилось. Что-

то — другое. Что-то, что было связано с Кадош, и со светом, и с клиниками, и с «исцелением», и с болью, которой нет, и с тканью, которая «обнулена», и с нервами, которые молчат, и со шрамом, который остался, и с улыбкой, которая — одинаковая, и с теплом, которое — не тепло, и со всем, что она записала в тетрадь, в шести вопросах, которые не имели ответов, но имели — направление.

Почему мне не больно.

Вопрос мёртвой дочери. Вопрос, который задала та, которая умерла с болью, и которая — теперь — спрашивает: почему не больно? Где — боль? Куда — убрали? И — кто?

Дарья стояла у стены. Ладонь — на бетоне. Гистамин — за спиной, на кушетке, и не двигался, и не дышал, или — дышал, но так тихо, что не было слышно.

Она опустила руку. Вернулась к кушетке. Села. Открыла тетрадь. И — дописала. Под вопросом шесть, ниже, мелко, почти неразборчиво:

«Голос Анны. Второй раз. Не «посмотри» — «почему мне не больно». Вопросы мёртвой дочери становятся вопросами расследования. Или — наоборот. Не знаю.»

Она закрыла тетрадь. Легла. Потушила лампу. Темнота.

И в темноте — тишина. И в тишине — ничего. И в ничего — кап. Кап. Кап. И за ничего — стена. И за стеной — земля. И за землёй — город. И над городом — семь фигур, которые не двигались, и не отбрасывали теней, и от которых шло тепло, и тепло было — хорошо, и хорошо было — всем, и всем — кроме Дарьи, и кроме Гистамина, и кроме — может быть — Анны, которая — где-то — не здесь — не там — а между, в ничто, в щель, в зазор между живым и мёртвым, между болью и пустотой, — спрашивала:

почему мне не больно

и — не получала ответа.

Потому что ответ — не дали.

А может — ответ — были они. Кадош. И ответ был: «потому что мы забрали». И — всё. И — больше ничего. И — достаточно.

Или — нет.

Дарья не знала. Она знала одно: завтра — срезы. Завтра — микроскоп. Завтра — вопросы, у которых нет ответов, и

тетрадь, и ручка с полупустым стержнем, и Гистамин, который молчал, и стена, за которой — ничего, и голос, который — спрашивал.

Она закрывает глаза. Она — не заснёт. Она будет лежать и слушать — не кап. Не вентиляцию. Не Гистамина. Она будет слушать — тишину, которая пришла после боли, и в которой — ничего не было, и ничего — не болело, и ничего — не звучало, и ничего — не чувствовалось.

Как у тех, кто вышел из клиники. Как у Марины, которая оступилась и не поморщилась. Как у Василия Платоновича, который ударил локоть и не заметил. Как у женщины с рассеянным склерозом, которая ходила и не чувствовала. Как у всех, кого «пересобрали», и у кого — забрали боль, и которые — улыбались, и улыбки были одинаковые, и улыбки были — тёплыми, и улыбки были — не их.

И Дарья лежала, и не спала, и не улыбалась, и ей было — больно. Больно — за Анну. Больно — за тех, кому не больно. Больно — за мир, который ликует и не видит. И эта боль — была её. Её — единственная. Её — последняя. И она — не отдаст.

Ни Кадош. Никому.

I

Марина Коваль погибла в четверг, в пятнадцать часов двенадцать минут.

Автобус номер сто тридцать семь — «ЛиАЗ», грязно-жёлтый, с рекламой стоматологии на борту — шёл по Садовому кольцу, от Курского к Таганке, и водитель потом скажет, что ничего не видел, что девочка вышла из-за припаркованного «Газели» внезапно, как тень, и он нажал на тормоз, но тормозной путь был — двадцать три метра, и двадцать три метра — это много, если человек стоит в десяти.

Марина не стояла. Марина шла. Быстро — почти бежала, почти летела, с тем странным лёгким шагом, который стал появляться у исцелённых после Кадош: они двигались так, будто тело весило меньше, чем должно. Свидетели потом скажут разное. Один — что она улыбалась. Другой — что она смотрела прямо перед собой и не видела автобуса. Третий — что она закричала в последнюю секунду, но крик был не страха, а удивления, как будто увидела что-то неожиданное — не автобус, а что-то за автобусом, что-то, чего не видел никто больше.

В протоколе, который заполнит дежурный судмедэксперт, будет написано: «Множественные переломы костей скелета. Разрыв внутренних органов. Травматический шок. Смерть на месте». Сухой язык. Точное описание. Но язык не передаст того, как трёхтонный автобус смял тело весом в пятьдесят два килограмма, как кости хрустнули — таз, рёбра, правая ключица, — как кожа лопнула на левом бедре, и оттуда хлынула кровь, и кровь была — алой, яркой, нормальной, живой кровью двадцатидвухлетней девушки, у которой лимфома четвёртой стадии отступила три недели назад.

Скорая приехала через семь минут. Врач констатировал смерть. Тело накрыли простынёй. Простыня пропиталась кровью — на левом боку, на животе, на бедре. Водитель автобуса сидел на бордюре и курил, и руки его тряслись, и он стряхивал пепел, и пепел падал на асфальт, и асфальт был мокрым — не от дождя, от мойки, и пепел таял в луже, как тает всё маленькое в большом.

Тело перевезли в морг больницы №7 — в тот самый полуподвальный морг бывшего ковидного госпиталя на востоке Москвы, где Дарья Воронцова работала и где жил Гистамин, и где печенье с корицей давно закончилось, и где тетрадь наблюдений — толстая, в клетку, с обложкой цвета хаки — лежала в ящике стола и ждала.

Тело привезли в восемнадцать сорок. Дежурная медсестра — Тамара Петровна, полная, с крашеными волосами цвета меди, которая работала в морге дольше, чем Дарья, и которая не боялась ничего, кроме собственной тёщи, — позволила Дарье на мобильный.

— Дарья Александровна, поступила. Транспортная травма. Молодая. Женщина. Двадцать два года.

— ФИО? — спросила Дарья. Голос был ровный. Рабочий.

— Коваль Марина Сергеевна.

Дарья замолчала. Пауза была — две секунды. Три. Четыре. Тамара Петровна ждала. Она умела ждать — двадцать лет в морге научили.

— Я приеду, — сказала Дарья. — К девяти.

Она положила трубку. Села на кровать. Было темно — октябрь, семь вечера, за окном дождь, и дождь стучал по жестяному отливу, и стук был ритмичный, как метроном, как капли из крана в морге. Дарья сидела и слушала дождь, и думала.

Марина Коваль. Первая исцелённая. Девочка с экранов.

Румяная, сияющая, улыбающаяся. С шрамом на шее, который не исчез. С шагом, который был слишком лёгким. С глазами, которые сияли так, что становится страшно. И вот — автобус. Сто тридцать семь. Двадцать три метра тормозного пути. Смерть на месте.

Дарья оделась. Серый свитер, чёрные брюки, ботинки на низком каблуке — всё чёрное, всё серое, всё незаметное, как её жизнь, как её работа, как она сама. Гистамин остался дома — сегодня он спал на подушке, свернувшись клубком, и не открыл глаз, когда она уходила. Это было нормально. Это было — каждый вечер. Но сегодня Дарья задержалась у двери, посмотрела на кота и подумала: а если я не вернусь? Если то, что я найду, — изменит всё, и после этого не будет «как раньше»? Гистамин не ответил. Спал. Дышал. Рыжий, с белыми лапами, с мурчанием, которое было низким и вибрирующим, как работа холодильника, и от которого становилось не лучше, но тише.

Дарья вышла. Дверь закрылась. Замок щёлкнул. Дождь шёл.

II

Морг встретил её запахом. Формалин, хлорка, и — слабый, едва уловимый — запах чего-то ещё. Не корицы. Не же-

леза. Чего-то, чему она не могла подобрать названия. Сладковатый, тонкий, не противный, но чужой, как запах чужого дома, куда ты вошёл без приглашения и не должен здесь быть.

— Тамара Петровна, — сказала Дарья, входя в прозекторскую. — Где она?

— На столе. Я подготовила. Инструменты — на подносе. Перчатки — на столе. Протокол — чистый.

Дарья кивнула. Надела халат. Надела перчатки — латексные, синие, размер М, привычные, как вторая кожа. Включила лампу — хирургическую, с холодным белым светом, под которым всё становилось отчётливым, как под лупой, как под микроскопом, как под прицелом.

Марина лежала на столе.

Дарья видела тысячи тел. Тысячи. Мужчин, женщин, детей — да, детей, и это было хуже всего, и именно поэтому она ушла в патологию, потому что дети умирали, и кто-то должен был понять, почему. Она видела тела, которые были целы, и тела, которые были разрушены, и тела, которые были — ничем, которые были уже не телами, а массой, обломками, ошмётками, и она училась смотреть на это без чувства,

и научилась, и это было — профессией, и это было — защитой, и это было — потерей, потому что то, что она защищала, было способностью чувствовать, и она защитила её так хорошо, что потеряла.

Марина лежала на столе, и Дарья смотрела, и первые секунды — работала глаз, а не сердце. Глаз — профессиональный, намётанный, холодный. Лицо — бледное, но не мертво-бледное, а светло, как будто кровь ушла из кожи, но не из тела. Посмертные пятна — на спине, на задней поверхности бёдер, синюшно-фиолетовые, обычные, правильные. Ригор mortis — начинается, мышцы каменные, челюсть сомкнута. Это — нормально. Это — правильно. Тело мертво, и тело ведёт себя как мёртвое, по правилам, по законам, по ступеням.

Травмы. Их было много. Перелом таза — открытый, костные отломки торчали из кожи на левом бедре. Перелом рёбер — справа, четыре, пять, шесть, семь, по среднеподмышечной линии. Перелом правой ключицы. Ушибленная рана живота — живот напряжён, напряжён ненормально, не как при посмертном окоченении, а как при — Дарья остановилась. Она не могла объяснить. Живот был напряжён так, как будто что-то внутри давило наружу, что-то, что было больше, чем должны быть внутренности, что-то, что занимало место, не предназначенное для него.

— Тамара Петровна, — сказала Дарья, не отрывая глаз от тела. — Живот. Посмотрите.

Тамара Петровна подошла. Посмотрела. Потрогала — осторожно, через перчатку.

— Деревянный, — сказала она. — Не живот, а панцирь. Это что — отёк?

— Не знаю, — сказала Дарья. — Посмотрим.

Она взяла скальпель. Привычный, лёгкий, No 22, с лезвием, которое она меняла сама, потому что не доверяла чужой заточке. Положила ладонь левой руки на грудную клетку Марины — привычный жест, последний контакт, молчаливое «здравствуй» и «прости» одновременно, которое Дарья делала перед каждым вскрытием, и не помнила, когда начала, и не думала об этом, и это было — ритуалом.

Первый разрез. Классический, Y-образный, от плечевых суставов к мечевидному отростку и далее — по белой линии живота до лонного сочленения. Лезвие вошло в кожу — и Дарья почувствовала сопротивление. Не нормальное. Кожа резалась, как кожа, но под кожей — не было привычной податливости подкожной клетчатки, не было мягкого жёлтого

жира, не было рыхлой соединительной ткани. Под кожей было — твёрдое. Не камень, не кость. Что-то упругое, плотное, как застывший желатин, как агар-агар в чашке Петри, как — Дарья не находила сравнения, потому что сравнения не было.

Она углубила разрез. Рассекла фасцию. И — остановилась.

Под кожей не было ничего знакомого.

Не было жёлтого жира, который она видела тысячи раз. Не было красных мышц с их волокнистой структурой, с продольными и поперечными полосами. Не было белой фасции, не было сосудов, не было нервов. Вместо всего этого, под кожей, заполняя всё пространство — между кожей и рёбрами, между рёбрами и позвоночником, там, где должны быть лёгкие, сердце, печень, желудок, кишки, — была масса.

Однородная. Слегка прозрачная. Студенистая. Молочно-белая.

Она заполняла тело, как вода заполняет воздушный шарик — плотно, без пустот, без зазоров, без щелей. Она была — везде. Дарья провела пальцем по поверхности массы — она была прохладной, гладкой, чуть влажной, и при надав-

ливании — пружинила, возвращалась в форму, как живая, как — Дарья отдёгнула руку.

— Тамара Петровна, — сказала Дарья, и голос её был ровным, слишком ровным, как у человека, который держится. — Посмотрите. И скажите, что вы видите.

Тамара Петровна подошла. Посмотрела. Наклонилась. Долго молчала. Потом — сказала, и голос её был не таким, как обычно, — тихим, маленьким, как у человека, который увидел что-то, чего не должен видеть:

— Я не вижу органов. Я не вижу ничего. Что это, Дарья Александровна?

Дарья не ответила. Потому что не знала.

III

Дальше — руки работали сами.

Это было — не решение. Не выбор. Не сознательное «я должна это сделать». Это было — автопилот. Двенадцать лет патологической анатомии, четыре года хирургии, два года ординатуры, и все эти годы — в мышцах, в пальцах, в сухожилиях, в нервных путях, в спинном мозге, который не

спрашивает разрешения у головного, а действует. Руки знали, что делать. Руки делали.

Дарья взяла образцы. Четыре кассеты — по одной из каждого квадранта: правый верхний, правый нижний, левый верхний, левый нижний. Скальпель входил в массу — и она резалась, как очень плотное желе, не крошась, не распадаясь, сохраняя форму среза, как будто каждая поверхность была — запечатана, закрыта, как кожа закрывает тело.

Она фотографировала. Цифровым фотоаппаратом — служебным, казённым, с облезшей резинкой на корпусе, — который лежал в морге для документации. Снимок за снимком: общий вид, план вскрытия, первый разрез, масса под кожей, масса в грудной полости, масса в брюшной полости. Каждый снимок — с линейкой, с номером, с меткой. Профессионально. Автоматически. Руки делали, а мозг — молчал. Мозг ушёл. Мозг спрятался. Мозг знал, что если начнёт думать сейчас — остановится, и остановиться нельзя, потому что тело на столе, и протокол пустой, и кто-то должен его заполнить, и кто-то — это она, и другого «кто-то» нет.

Она писала протокол. Протокол вскрытия № 1923. ФИО: Коваль Марина Сергеевна, дата рождения, дата смерти, место смерти, причина смерти — «транспортная травма». И дальше — описание, и руки писали, а мозг не читал:

«При вскрытии грудной и брюшной полостей обнаружена однородная студенистая масса молочно-белого цвета, заполняющая все полости тела. Масса не имеет границ, не имеет капсулы, не разделена на анатомические структуры. Органы — лёгкие, сердце, печень, селезёнка, поджелудочная железа, почки, желудочно-кишечный тракт — не идентифицированы. Масса прилежит к внутренней поверхности грудной стенки, диафрагме, брюшине. Сосуды — не идентифицированы. Нервные стволы — не идентифицированы».

Она писала, и слова выходили из пальцев, как из-под кра-
на — вода, и вода была — протоколом, и протокол был —
формой, и форма была — единственным, что держало, по-
тому что внутри формы — ничего не было, внутри формы
была — пустота, и пустота была — белой, и белая пустота
— заполняла тело Марины Коваль, и заполняла — Дарью, и
заполняла — комнату, и заполняла — мир.

Тамара Петровна стояла у стены. Не помогала. Не мешала.
Стояла — и молчала, и молчание её было — другим, не та-
ким, как обычное молчание, а таким, какое бывает у людей,
которые увидели что-то, чему нет названия, и теперь не зна-
ют, как говорить, потому что язык создан для того, что име-
ет имя, а то, что не имеет имени, — не помещается в язык.

Дарья заполнила протокол до конца. Причина смерти — «множественная травма, полученная в результате дорожно-транспортного происшествия». Она написала это — и остановилась. Это было — правдой. Автобус. Переломы. Кровь. Транспортная травма. Это было — правдой, и это было — ложью, потому что причина смерти была не автобус. Причина смерти была — то, что заполняло тело. То, что заменило внутренности. То, что было — не Мариным. Но как это написать? Как это вписать в протокол, который пойдёт в архив, и в архиве будет лежать, и кто-то его прочитает, и — что? И что они сделают? И что — можно сделать?

Дарья подписала протокол. Поставила дату. Положила ручку.

И вот тогда — только тогда — мозг вернулся.

Он вернулся, как человек, который вышел из комнаты за стаканом воды и обнаружил, что пока его не было, в комнате переехали обои, и мебель стоит не там, и свет горит не тот, и вообще — это не его комната. Мозг посмотрел на то, что сделали руки, и увидел: протокол, заполненный, подписанный, с фотографиями, с образцами, с описанием чего-то, чему не было места в учебниках, в классификациях, в науке, в — нигде.

И понял: она только что задокументировала нечто, что может стоить ей всего. Карьеры — потому что протокол звучит как бред. Свободы — потому что если кто-то решит, что она подделала, — экспертиза покажет странное, и странное нельзя объяснить, а необъяснимое — подозрительно. Жизни — потому что если те, кто это сделал, узнают, что кто-то знает, — а они узнают, потому что Архангел слышит, Архангел — везде, Архангел — в голове, —

Дарья посмотрела на протокол. На фотографии. На кассеты. На массу — молочно-белую, студенистую, чуть прозрачную, заполняющую тело, как воск заполняет свечу.

И подумала: а если я сейчас всё уничтожу? Сожгу протокол, вылью формалин, выброшу кассеты, зашью тело, напишу «транспортная травма, смерть на месте» — и забуду? Забуду, как забыла трёх тысяч тел до этого, как забыла Николая Ивановича с его поджелудочной, как забыла — всех? Потому что забывание — это профессия, и профессия — это забывание, и если не забывать — сойдёшь с ума?

Гистамин бы не забыл. Гистамин запоминает. Гистамин смотрит в стену, у которой ничего нет, и видит что-то.

— Нет, — сказала Дарья вслух. Тамара Петровна вздрогнула. — Нет. Я не забуду.

Она собрала кассеты, фотографии, протокол. Положила в папку. Папку — в ящик стола, под тетрадь. Тетрадь — открыла. Написала:

«Дата: [текущая]. Коваль М.С., 22 года, исцелённая. Транспортная травма, смерть на месте. При вскрытии: внутренние органы отсутствуют. Замещены однородной студенистой массой молочно-белого цвета. Масса заполняет все полости. Структура — неизвестна. Происхождение — неизвестно. Совместимость с известной биологией — ноль».

И ниже:

«Ответ на вопрос 3: не лечение. Не перестройка. Замена. Полная замена внутреннего содержимого тела на чужеродный материал. Кожа, мышцы, кости — сохранены. Внутренности — нет. Оболочка осталась. Содержимое — чужое».

IV

Микроскоп был старый. Оптический, бинокулярный, производства ЛОМО, 1986 года, с окулярами х10 и объективами от х4 до х100, с масляной иммерсией, с линзами, которые были поцарапаны и всё ещё давали картинку лучше, чем любые цифровые, потому что Дарья не доверяла цифре,

а доверяла стеклу, и стекло было — честно.

Она приготовила срез. Тонкий, пять микрон, на микротоме, который тоже был старый и тоже был — честен. Окрасила гематоксилином и эозином — стандарт, классика, рутин. Гематоксин красил ядра в синий, эозин — цитоплазму в розовый. Это было — первым, чему учили на кафедре патанатомии, и это было — последним, что оставалось, когда всё остальное уходило.

Она посмотрела.

И — ничего не поняла.

Нет клеток.

В нормальной ткани — клетки. В любой ткани. Эпителий — клетки. Соединительная ткань — клетки. Мышцы — клетки. Нервная ткань — клетки. Всё — клетки. Клетка — единица строения, единица жизни, единица всего. Без клеток — нет ткани. Без ткани — нет органа. Без органа — нет тела. Это — не теория. Это — закон. Один из немногих законов биологии, которые не имеют исключений.

Кроме — вот этого.

Под микроскопом, в срезе толщиной пять микрон, окрашенном гематоксилином и эозином, — не было клеток. Не было ядер. Не было цитоплазмы. Не было мембран. Не было ничего, чему Дарья могла бы дать имя.

Была структура.

Она была — организованной. Не хаотичной. Не аморфной. Не случайной. Она была — регулярной, повторяющейся, геометрической, и это было — страшнее, чем если бы она была хаотичной, потому что хаос — это распад, хаос — это смерть, хаос — это нормально, когда тело мертво. А порядок — это жизнь. А эта структура — была — живой. Или — была чем-то, что имитировало жизнь так точно, что Дарья не могла отличить.

Она увеличила. x40. x60. x100, масляная иммерсия. Структура становилась — чётче. Она была — сетчатой. Нити, переплетённые, образующие ячейки, и в ячейках — прозрачное вещество, и нити — не были коллагеном, не были эластином, не были актом, не были тубулином. Они не были ничем из того, что Дарья знала. Они были — чем-то другим.

Она записала:

*«Микроскопия. Окраска — гематоксилин и эозин. Ув.

x100 (иммерсия). Структура — сетчатая, регулярная. Нити — неидентифицированные. Ячейки — правильной формы, многократные. Клетки — отсутствуют. Ядра — отсутствуют. Цитоплазма — отсутствует. Гематоксилин-положительные структуры — отсутствуют. Эозин-положительные структуры — слабая диффузная окраска межуточного вещества. Заключение: структура не соответствует ни одному известному типу ткани человека или животного».*

Дарья отодвинулась от микроскопа. Сняла очки — она работала в очках, старых, с тонкой оправой, и стёкла были — мутные, и она их протёрла, и они снова стали прозрачными, и мир снова стал — чётким, и в этом — не было смысла, потому что мир стал чётким, а понимание — не стало.

Она подумала: в теле Марины Коваль не осталось ничего от Марины Коваль. Кожа — да. Мышцы — да. Кости — да. Но внутри — нет. Нет печени, которая чистила кровь. Нет лёгких, которые дышали. Нет сердца, которое билось. Нет желудка, который переваривал. Нет кишок, которые всасывали. Нет почек, которые фильтровали. Нет мозга, который думал. Нет ничего, кроме — этого. Этой массы. Этой сети. Этой — чужой вещи, которая занимала место, где была Марина, и которая — была не Мариной.

И Марина — ходила. Говорила. Улыбалась. Дала интер-

вью. Спускалась по ступенькам. Оступалась — и не чувствовала. Ела — наверное. Спала — наверное. Жила — наверное.

Но — чем?

V

Дарья позвонила в одиннадцать вечера.

— Олег, — сказала она. — Приезжай.

Стрижень не спросил «куда» и «зачем». Он спросил:

— Долго?

— Да.

Он приехал в полночь. Машину оставил у входа, прошёл через пустой госпиталь — тёмный, гулкий, с выключенным светом и включённой вентиляцией, которая гудела, как желудок голодного зверя. Дверь морга была не заперта — Дарья оставила приоткрытой.

Он вошёл. Увидел Дарью — в халате, в перчатках, с лицом, которое было — серым, и глаза были — большие, и в

глазах было — то, что Стрижень видел только один раз в жизни, в Сирии, у солдата, который нашёл в подвале школы то, что не должен был найти.

— Сюда, — сказала Дарья и указала на стол.

Стрижень подошёл. Посмотрел. Долго. Молча. Он видел мёртвых — многих. Он видел тела, разорванные минами, сожжённые, разложившиеся. Он был военкором и знал, что мёртвое тело — это — мёртвое тело, и в нём — внутренности, и внутренности — узнаются, и узнаются — потому что они такие, как у всех, и у всех — одинаковые, и в этом — ужас, и в этом — утешение.

То, что он видел сейчас, — не было мёртвым телом. Оно было — чем-то другим. Оно было — оболочкой, внутри которой — не было того, что должно быть. Как дом, в котором вынесли всю мебель, и вместо мебели — поставили что-то, что не мебель, что — другое, что занимает место, но не живёт здесь.

— Что это? — спросил Стрижень.

— Не знаю, — сказала Дарья. — Но я знаю, чего это — не. Это не ткань. Не орган. Не организм. Это — замена.

— Замена чего?

— Всего.

Стрижень молчал. Потом:

— Сколько их? Исцелённых?

— Тысячи. Десятки тысяч. И каждый — потенциально такой же.

— Носители.

— Да.

— И они — среди людей. Ходят. Разговаривают. Улыбаются.

— Да.

— И никто не знает.

— Никто.

Стрижень сел на стул. Не потому что устал — потому что ноги стали ватными. Он провёл ладонью по лицу — левой,

правой, обеими, и фантомная нога заняла, и боль была — знакомой, привычной, своей, и от слова «своей» — стало тошно, потому что «своё» — это то, что отличает тебя от чужого, а на столе лежало тело, в котором не было ничего своего.

— Ты photographed? — спросил он.

— Да. Всё. Протокол — подписан. Образцы — взяты. Но если кто-то узнает —

— Если кто-то узнает, что ты знаешь, — они узнают. И тогда — ты. И тогда — ты станешь — этим.

Он не договорил. Не нужно было. Дарья понимала. Она сама думала об этом. Она только что подписала протокол, и подпись её — стояла, и подпись — была — именем, и имя — было — адресом, и адрес — был — дверью, и дверь — была — открыта.

— Нужно спрятать, — сказал Стрижень. — Протокол. Фотографии. Образцы. Не здесь. Не в морге. Не у тебя. Где-то, где они не найдут.

— Они слышат, — сказала Дарья. — Архангел. В голове. Они — слышат.

— Слышат — мысли? Или — слова?

— Не знаю. Но если мысли — то мы уже потеряли.

— Если бы слышали мысли — они бы уже пришли. Значит — не мысли. Значит — слова. Значит — можно.

Дарья кивнула. Он был прав. Или — хотел быть правым. Или — оба — хотели.

VI

Стрижень уехал — за образцами. Два среза, в контейнерах, в формалине, в коробке из-под обуви, в багажнике машины, под запаской. Фотографии — на флешке, в нагрудном кармане, рядом с блокнотом. Копия протокола — в кармане пиджака, рядом с протезом — нет, протез на ноге, на левой, там, где ноги нет, а флешка — там, где рука есть.

Дарья осталась.

Она вернулась к микроскопу. Не потому что хотела — потому что должна. Потому что не посмотрела — всё. Потому что остановилась на «нет клеток» и «сетчатая структура» и — не пошла дальше. А дальше — было.

Она снова посмотрела. x100. Масляная иммерсия. Сетчатая структура. Нити. Ячейки. Прозрачное межклеточное вещество. И — теперь, когда она знала, что искать, — она увидела.

Трубки.

Внутри нитей — внутри, не снаружи — шли трубки. Тонкие, полые, с ровными стенками. Они ветвились, как дерево, как река, как сосуды — как кровеносные сосуды, как лимфатические, как нервные волокна, но — не сосуды, не лимфатические, не нервные. Другие. Чужие. И они — соединяли. Всё. Всю массу. Всю сеть. В одну — единую — систему.

Не орган-заместитель. Не ткань-заместитель. Организм-заместитель.

Дарья записала:

«Дополнение к микроскопии. Внутри нитей сети — трубчатые структуры, полые, ветвящиеся. Образуют единую систему, пронизывающую всю массу. По форме напоминают сосуды, но не являются сосудами. Гипотеза: масса — не набор замен, а единый организм. Единая сеть. Один — вместо всех».

И ниже:

«Марина Коваль не была исцелена. Она была — заменена. Кожа, мышцы, кости — оболочка. Внутри — чужое. Живое. Сетевое. Одно — вместо многих. Вопрос: если одно — вместо многих, то кто — управлял? Кто — дышал? Кто — думал? Марина — или — то, что внутри?»

VII

Три часа ночи. Морг был пуст. Тамара Петровна ушла в двенадцатом, и в двенадцатом — ушла, и за ней закрылась дверь, и шаги её по коридору были — быстрыми, слиш-ком быстрыми, и Дарья слышала, как стучали каблуки по linoleum, и стук — затих, и осталось — ничего.

Ничего — кроме гула вентиляции. И капель из крана. Кап. Кап. Кап.

И тела.

Тело Марины лежало на столе. Дарья не зашила его — не стала. Разрез был — открыт, и в разрезе — была видна масса, молочно-белая, и при свете хирургической лампы она — поблёскивала, как влажный сахар, как иней, как — Дарья

выключила лампу.

Выключила — и масса засветилась.

Не сильно. Не ярко. Едва-едва. Холодным голубоватым светом, как свечение гнилушки в тёмном лесу, как фосфоресценция морского планктона, как — что-то живое, что светится само, без лампы, без тока, без причины, кроме — того, что оно живое.

Дарья стояла в темноте морга и смотрела на светящееся тело, и свет был — внутри, шёл изнутри, из массы, из сети, из — того, что заменило Марину.

И тогда — голос.

«Мам, посмотри...»

Дарья закрыла глаза. Голос Анны. Тихий, детский, далёкий. Не снаружи — изнутри. Из памяти, из усталости, из темноты. Голос, который приходил раньше — во снах, в обрывах снов, в секундах между сном и явью. Но сейчас — не во сне. Сейчас — наяву, в три часа ночи, в морге, с мёртвым телом, которое светилось.

«Мам, посмотри... Что они с ней сделали?»

— Я вижу, — сказала Дарья. — Я вижу, Аня.

«А со мной?»

Голос — дрогнул. Или — Дарья дрогнула. Или — оба.

«Если бы они пришли раньше — когда я болела — если бы они взяли меня — я бы стала — такой?»

Дарья не ответила. Потому что ответ был — да. Или — может быть. Или — наверное. Или — она не знала. Она не знала, и незнание было — тяжёлым, как камень, и камень лежал — в груди, и давил, и не давал дышать.

Она открыла глаза. Масса светилась. Голубоватый свет — ровный, пульсирующий, и пульс был — медленным, как дыхание, как heartbeat, как — живое.

Дарья села на стул. Рядом — Гистамина не было. Гистамин был дома. Гистамин — спал. Гистамин — не знал. Гистамин — был кошкой, и кошки не знают про массу в телах, про сети, про чужое, про — это.

— Я не знаю, Аня, — сказала Дарья. — Я не знаю, что это. Я не знаю, зачем. Я не знаю, кто. Я знаю одно: это — не

лечение. Это — не спасение. Это — что-то другое. И я — узнаю. Что бы это ни было.

Масса светилась. Капала вода. Вентиляция гудела.

И где-то — наверху, над крышей, над городом, над миром — Архангел висел в небе, и от него шёл свет, и свет был — тёплым, и люди спали, и во сне улыбались, и улыбка была — той самой, одинаковой, тёплой, как маска.

А в морге — было холодно. И масса — светилась. И Дарья — смотрела.

Она достала тетрадь. Открыла на последней странице. Написала:

«Что бы это ни было — я посмотрю. Я — патологоанатом. Я читаю то, что тело не может рассказать. Я — читаю. Это — моя работа. И я — прочитаю.»

Закрыла тетрадь. Встала. Подошла к столу. Посмотрела на светящуюся массу — долго, внимательно, как смотрят под микроскопом, как читают срез, как ищут ответ в ткани.

Свет — пульсировал. Медленно. Ровно.

Как будто — дышал.

Дарья выключила вентиляцию. Тишина. Кап. Кап. Кап.

И в тишине — едва-едва, на грани слышимого, на границе между звуком и воображением — она услышала.

Не голос. Не слово. Не мысль.

Гул.

Низкий. Вибрирующий. Как мурчание кота. Как работа холодильника. Как — Гистамин.

Масса — мурчала.

Дарья стояла в тёмном морге, одна, в три часа ночи, и чужая вещь в теле мёртвой девушки мурчала на неё, как кот. Как Гистамин. Как — знакомое. Как — своё.

И от этого — стало страшно. Не от массы. Не от света. Не от гула. А от того, что гул — был — знакомым. Что чужое — притворялось своим. Что то, что заменило Марину, — подражало. Коту. Ребёнку. Матери. Свету. Теплу. Жизни.

Подражало — всему, что Дарья любила.

Кап. Кап. Кап.

Гул. Гул. Гул.

Дарья вышла из морга. Закрыла дверь. Обернулась. Из-под двери — полоска голубоватого света.

Она стояла в коридоре пустого госпиталя, в темноте, и за дверью — светилось, и гудело, и подражало, и ждало.

Над городом — начинался рассвет. Серый, октябрьский, безрадостный. Небо было — низким, тяжёлым, как потолок в палате, где умирают. И где-то в этом небе — высоко, за облаками, за смогом, за дождём — висел Архангел и смотрел. Или — не смотрел. Или — видел всё. Или — видел — только то, что хотел.

Дарья пошла по коридору. Шаги — тихие, мягкие, ботинки на резиновой подошве, и резина — скрипела на linoleum, и скрип — был — единственным честным звуком.

Она думала о том, что подписала протокол. Что поставила имя. Что имя — было — на бумаге, и бумага — была — в ящике, и ящик — был — в морге, и морг — был — в госпитале, и госпиталь — был — в городе, и город — был — под

Архангелом, и Архангел — был — везде.

И она думала: а если Архангел — тоже — оболочка? Если внутри Архангела — то же самое? Если Архангел — не лидер, не хозяин, не бог — а — контейнер? Как Марина? Кожа и кости снаружи, а внутри — масса, сеть, трубки, гул, свет?

Если — да, то кто — за Архангелом?

Или — что?

За дверью морга — капала вода. И масса — мурчала. И рассвет — шёл. И мир — просыпался, и в мире были десятки тысяч исцелённых, и они открывали глаза, и улыбались, и улыбка — была — одинаковой, тёплой, как маска, как — чужое, притворяющееся своим.

Дарья вышла из госпиталя. Дождь кончился. Лужи — стояли. Небо — серело. И в лужах — отражалось небо, и в небе — ничего не было видно, но Дарья знала, что там — есть. Что там — висит. Что там — ждёт.

Она села в машину. Завела двигатель. Тепло — не шло. Дарья — не чувствовала тепла. Она всегда была холодной, с тех пор как Анна умерла, и тепло, которое разливалось по миру, обходило её стороной, как обходит ветер камень.

Камень. Да. Она была — камнем. Холодным, твёрдым, непроницаемым. И камень — не мурчал. Камень — не светился. Камень — не подражал.

Камень — стоял.

И она — стояла. И — поедет. И — будет смотреть. И — будет читать. И — будет — узнавать.

Что бы это ни было.

Глава 4. «Тишина сверху»

I

Дарья отправила протокол в шесть утра.

Не копию — копия была у Стриженя, во внутреннем кармане пиджака, рядом с блокнотом, и блокнот был кожаный, и пиджак был чёрный, и Стрижень был — далеко, в съёмной квартире на Кутузовском, и спал, или не спал, и Дарья не знала, и не могла знать, потому что не звонила, потому что звонить — значило говорить, а говорить — значило произносить слова, а слова — слышали. Может быть. Или — не слышали. Стрижень сказал: «Если бы слышали мысли — они

бы уже пришли». Дарья повторяла это, как мантру, как молитву, как то, во что хочешь верить, потому что alternativa — хуже.

Оригинал протокола лежал в папке. Папка — серая, казённая, с грифом «ДСП», который Хворостов дал ей две недели назад, когда оформлял допуск. Протокол — подписан. Фотографии — приложены. Описания — подробные, точные, профессиональные. Дарья писала его три часа, сидя за столом в ординаторской, при свете настольной лампы, потому что общий свет она не включала, потому что общий свет был — слишком ярким, и при ярком свете всё становилось отчётливым, а Дарья не хотела отчётливости. Она хотела — бумаги. Бумага — не светится. Бумага — не гудит. Бумага — не мурчит голосом мёртвой дочери. Бумага — просто бумага, и на бумаге — слова, и слова — можно прочитать, и можно не читать, и можно сжечь, и можно — отправить.

Она отправила.

Канал был — служебный. Закрытая связь, минуя обычную bureaucratic цепочку: не в архив, не в прокуратуру, не в Минздрав. Хворостов дал ей номер — прямой, мобильный, который он носил во внутреннем кармане кителя, и китель был — всегда застёгнут, и телефон — всегда при нём, и Да-

рья набирала номер, и пальцы её — не дрожали, потому что дрожать — значило бояться, а Дарья не боялась. Дарья была — холодной. Холод — её защита. Холод — её скальпель. Холод — то, что осталось, когда забрали всё остальное.

— Служба доставки документов координационного совета, — сказал голос в трубке. Мужской, ровный, скучный, голос человека, который отвечает на звонки и не думает о содержимом.

— Воронцова Дарья Александровна, научный консультант генерала Хворостова. Протокол вскрытия № 1923. ДСП. Передать лично.

— Подтверждаю. Курьер выехал.

Она положила трубку. Положила папку на край стола. Посмотрела на неё. Папка была — тощей. Десять страниц протокола, двенадцать фотографий, один диск с цифровыми копиями. Всё — в одной папке. Всё — что осталось от Марины Коваль, от её тела, от того, что было внутри, — десять страниц и двенадцать снимков. Тело — на столе в морге. Образцы — у Стриженя, в багажнике, под запаской. Копия — у Стриженя, на флешке, в нагрудном кармане. А оригинал — здесь, в папке, и папка — ждёт курьера, и курьер — едет, и через двадцать минут — заберёт, и повезёт, и отдаст, и пап-

ка уйдёт — наверх. Туда, где решают. Туда, где сидят люди, которые подписывают и не читают, или читают и не понимают, или понимают и — молчат.

Гистамин сидел на стуле и смотрел. Не на Дарью — на папку. Жёлтые глаза — не мигали. Зрачки — узкие, как щёлки, как прорези в маске. Кот смотрел на папку так, как смотрят на что-то, что опасно. Дарья видела этот взгляд — один раз, три года назад, когда Гистамин был котёнком и впервые увидел пылесос. Тогда — шипел. Сейчас — не шипел. Просто — смотрел.

— Всё будет хорошо, — сказала Дарья коту. И услышала свой голос, и голос был — чужим, потому что «всё будет хорошо» — это то, что говорят, когда ничего хорошего не будет, и оба — и она, и кот — это знали.

Курьер приехал через восемнадцать минут. Молодой, коротко стриженный, в чёрной куртке, с лицом, на котором ничего не было, как у людей, которые носят папки и не читают. Он взял пакет, расписался в журнале, кивнул. Уехал. Дарья стояла у входа в морг и смотрела, как удалялись задние огни его машины, красные, мигающие, как капиллярное кровоотечение в темноте.

Она вернулась внутрь. Села. Посмотрела на часы. Шесть

двадцать три утра.

Три часа. Она дала им три часа. Три часа — на то, чтобы папка доехала, чтобы её прочитали, чтобы кто-то — кто-то наверху — увидел то, что увидела она, и — отреагировал. Или — не отреагировал. И то, и другое — было ответом.

Гистамин прыгнул со стула, подошёл к двери морга, сел спиной к ней и уставился в стену коридора. Не на стену — сквозь. Туда, где — ничего. Где — бетон, и за бетоном — земля, и за землёй — город, и над городом — свет, и в свете — тишина, и тишина — была — не тишиной, а ожиданием.

Кап. Кап. Кап.

Кран. Опять. Дарья встала, закрутила. Тишина. Нормальная, человеческая, тупая тишина пустого морга в шесть утра.

Она знала, что это ненадолго.

II

Хворостов пришёл в девять семнадцать.

Дарья слышала шаги по коридору — тяжёлые, мерные, военные, каблуками, и каждый шаг — как удар метронома, и

метроном — отсчитывал время, и время — кончалось. Она стояла у стола, перчатки — сняты, халат — расстёгнут, тетрадь наблюдений — в ящике, под кипой бланков, и ящик — заперт, и ключ — в кармане, и карман — внутренний, и внутренний — значит — близко, и близко — значит — при ней.

Дверь открылась. Хворостов вошёл — и морг изменился. Не физически — стены остались стенами, потолок — потолком, лампа — лампой. Но воздух — стал плотнее, как будто кто-то добавил в него вес, и вес давил на плечи, и плечи — опускались, и Дарья — выпрямилась. Это было — рефлексом. Не перед генералом — перед силой, которую генерал нёс, как несёт вода напор: не собой, а тем, что за ней.

Хворостов был один. Без адъютанта, без охраны, без людей в штатском. Один — генерал-майор, в штатском — тёмный пиджак, белая рубашка, галстук, и галстук был завязан ровно, и узел — сидел, как приговор, и Дарья подумала: генерал, который приходит один, — либо доверяет, либо не хочет свидетелей. И то, и другое — плохо.

— Доброе утро, Дарья Александровна, — сказал Хворостов.

Голос был — ровный. Вежливый. Не холодный и не тёп-

лый — никакой. Голос человека, который умеет говорить так, что слова — пустые, а смысл — в паузах, в том, что между словами, в воздухе, который остаётся после.

— Доброе утро, товарищ генерал.

— Я получил ваш протокол.

Не «прочитал». Не «ознакомился». «Получил». Как посылку. Как повестку. Как — диагноз.

— Час назад, — продолжил Хворостов. — Лично. Из рук курьера. В кабинете. Один.

Он помолчал. Дарья ждала. Гистамин — не двигался. Сидел у двери, спиной к генералу, и смотрел в стену, и шерсть на его загривке стояла — не дыбом, но — приподнялась, как поле перед грозой, когда воздух ещё не разрядился, но уже — наэлектризован.

— Я прочитал, — сказал Хворостов. — Дважды.

И — тишина. Тишина, которая была — другой. Не морговой, не капающей, не гудящей. Тишиной — человеческой, тишиной человека, который стоит в морге и держит в голове то, что Дарья написала, и то, что Дарья написала, — не по-

мещается в голове, как не помещается масса в теле Марины, и ищет выход, и не находит, и давит, и генерал — давит, и желваки — ходят, и Дарья видит, как ходят, и считает: раз, два, три, четыре — и на четыре — он говорит.

— Кому ещё вы рассказали?

Прямой вопрос. Без обиняков, без подготовки, без «прежде всего» и «позвольте спросить». Генерал спрашивал — как допрашивает. Но — стоя, не сидя, и не напротив, а рядом, у стола, и не смотрел на Дарью — смотрел на стол, на котором утром лежала Марина, и стол был — пуст, и пустота была — честнее, чем то, что на нём лежало.

— Никому, — сказала Дарья.

— Дарья Александровна.

Не угроза. Не предупреждение. — Имя. Просто — имя, сказанное так, как говорят имя, когда знают, что тебе есть что скрывать, и хотят, чтобы ты знал, что они знают. Дарья услышала — и не дрогнула. Холод. Скальпель. Защита.

— Никому, — повторила она. — Протокол — оригинал. Копий не делала. Фотографии — в папке. Образцы — здесь, в морге.

Это была — ложка. Образцы — у Стриженя. Два среза, в контейнерах, в формалине, в коробке из-под обуви, в багажнике. И копия протокола — у Стриженя, на флешке. Дарья лгала — генералу, и ложка была — гладкой, ровной, профессиональной, как срез, и срез — не имел неровностей, и генерал — не мог проверить, и не стал бы, потому что генерал пришёл — не проверять.

Генерал пришёл — забирать.

— Образцы, — сказал Хворостов. — Все. Где они?

— В холодильнике. Две кассеты. Четыре — нет, две. Две кассеты, в формалине.

— Две?

— Две.

Это была — ложка. Четыре кассеты были у Стриженя. В морге оставались две — те, которые Дарья не успела передать, потому что Стрижень уехал раньше. Она оставила их — на случай, если придут. Если спросят. Если — вот так, как сейчас, — встанет генерал в морге и скажет: «образцы». И она достанет две, и отдаст, и две — останутся. У Стриже-

ня. В багажнике. Под запаской.

Дарья открыла холодильник. Достала две кассеты — маленькие, пластиковые, с этикетками, на которых было написано: «№ 1. Коваль М.С.» и «№ 2. Коваль М.С.». Формалин — прозрачный. Ткань — молочно-белая. Знакомая. Чужая.

Хворостов взял кассеты. Не в руки — достал из кармана пиджака пакет. Плотный, пластиковый, с застёжкой-молнией. Положил кассеты внутрь. Застегнул. Убрал во внутренний карман — туда, где носил телефон, туда, где носил всё, что было важно, и карман был — застёгнут, и застёжка — щёлкнула, как замок сейфа.

— Распишитесь, — сказал он и достал бланк.

Бланк — стандартный, акт приёма-передачи биологического материала. Дарья видела такие — при передаче образцов в лабораторию, при отправке на экспертизу. Но этот — был не из лаборатории. Этот — был из пачки, которую Хворостов носил с собой, и пачка — была — не казённая, не с печатью, не с реквизитами. Чистый бланк. Без шапки. Без адреса. Без — того, кто принимает.

— Куда? — спросила Дарья, беря ручку.

— Государственная экспертиза, — сказал Хворостов. — Специальная. Результат — будет передан вам.

— Какая экспертиза? Чья?

— Государственная, — повторил Хворостов. И — посмотрел на Дарью. Впервые за весь разговор. Глаза — маленькие, цепкие, как у птицы, которая высматривает сеноедов на поле. И в глазах — было — не то, что Дарья ожидала. Не угроза. Не приказ. Не — «молчи». В глазах было — другое. Усталость. Глубокая, тяжёлая, как от бессонницы, как от ноши, которую несёшь слишком долго и не можешь положить. И — ещё — что-то, чему Дарья не нашла названия, что-то похожее на — извинение? Или — просьбу? Или — то и другое, и ни то, ни другое, а — третье: понимание. Он — понимал. Он — знал. Или — чувствовал. Или — догадывался. И пришёл — не потому что приказали, а потому что — если не он, то — кто-то другой. И кто-то другой — был бы — хуже.

— Дарья Александровна, — сказал Хворостов, и голос его изменился — стал тише, ниже, интимнее, как будто стены морга были — ушами, и он не хотел, чтобы стены — слышали. — Государство разбирается. Позвольте мне — забрать. Позвольте мне — быть тем, кто забирает. Потому что следующий, кто придёт, — будет не я.

Дарья расписалась. Подпись — ровная, привычная, «Воронцова Д.А.». Дата. Время. Номер протокола. Руки — не дрожали. Холод — держал.

Хворостов взял бланк. Сложил. Убрал — в тот же карман, куда убрал кассеты. Щелчок застёжки.

— Спасибо, — сказал он.

Не «благодарю». Не «спасибо за службу». Просто — «спасибо», и это было — странно, потому что генералы не говорят «спасибо» патологоанатомам в морге, и если говорят — значит, что-то — не так, что-то — больше, чем протокол и кассеты, что-то — что Дарья не видит, но чувствует, как чувствует тепло Архангела, как чувствует — давление, которое приходит не через кожу, а через что-то другое, для чего нет органа, но есть — знание.

Хворостов развернулся и пошёл к двери. Два шага. Три. Остановился. Не оборачиваясь:

— Тело Коваль. Оно — здесь?

— Да. На столе. В холодильной.

— Его не трогайте. Никто — не трогайте. Я распоряжусь.

И — вышел. Шаги по коридору — тяжёлые, мерные, военные, и каждый шаг — тише, тише, тише — и — тишина. И в тишине — Гистамин обернулся, и посмотрел на Дарью, и глаза его были — огромные, жёлтые, и зрачки — расширены, и в зрачках — отражалась лампа, и лампа была — белой, и белое — было — везде, и Дарья подумала: белое — цвет клиники. Цвет массы. Цвет — того, что заменяет.

— «Следующий, кто придёт, — будет не я», — повторила она вслух. — Слышишь, Гистамин?

Гистамин не ответил. Он умывался. Спокойно, методично, лапой за ухом, и это было — нормально, и нормальность была — обманом, и обман — был — везде.

Кап. Кап. Кап.

Кран. Опять. Дарья не стала закручивать.

III

Она ждала.

Ждала — не Хворостова. Не «следующего». Ждала —

звонка. Или — стука. Или — тишины, которая не кончается. Три часа — с момента отправки протокола. Хворостов — через три часа. Три часа — от бумаги до генерала. Это — быстро. Это — слишком быстро. Протокол шёл вверх через курьера, через приёмную, через — кого? Через — что? И через три часа — генерал в морге. Лично. Один. Без звонка, без предупреждения, без — «буду в таком-то времени». Пришёл. Как к врачу. Как к патологоанатому, который нашёл то, чего не должен был найти, и теперь — нужно забрать, и забрать — может только тот, кто знает, что забирает, и Хворостов — знал. Или — знал, что нужно забрать, и не знал — что. Или — знал и что, и зачем, и — пришёл, потому что следующий — хуже.

Дарья сидела за столом и думала.

Думала — о Хворостове. О его глазах. Об усталости, которая была — не от бессонницы, а от — знания. От — понимания, что ты — часть чего-то, что больше тебя, и что это «большее» — не ты, и не твоё, и ты — не управляешь, ты — передаёшь. Винтик. Механизм. Звено в цепи, которая идёт — вверх, и наверху — кто-то, и кто-то — знает, и кто-то — решил, и решение — спускается вниз, как вода по трубам, и труба — Хворостов, и вода — течёт, и генерал — течёт, и пришёл, и забрал, и ушёл.

Или — Хворостов — не труба. Хворостов — фильтр. Фильтр, который стоит в трубе и задерживает то, что не должно пройти. И пришёл — не потому что приказали, а потому что — если не он, то — кто-то, кто не задержит, кто — пропустит, или — заберёт, и заберёт — не только кассеты.

Дарья достала тетрадь. Открыла. Написала:

«Запись 1. Хворостов — через 3 часа после отправки протокола. Пришёл лично. Один. Вежлив. Спросил, кому рассказала. Я — никому (ложь). Образцы — отдала две из четырёх (две — у Стриженя). Расписалась. Сказал: „Государство разбирается“. Сказал: „Следующий, кто придёт, — будет не я“. Два варианта: 1) Хворостов — знает и работает на них. 2) Хворостов — не знает, но кто-то над ним — знает, и Хворостов — исполняет, и исполняет — потому что не исполнять нельзя, и нельзя — потому что система, и система — больше генерала.»

«Вопрос: кто — над Хворостовым? Кто получил протокол раньше Хворостова? Курьер ехал двадцать минут. Хворостов пришёл через три часа. Между — два часа сорок минут. Что произошло за два часа сорок минут? Кто прочитал? Кто позвонил? Кто — приказал?»

*«Или — Хворостов получил протокол не от курьера.

Хворостов получил — от кого-то выше. Курьер — доставил. Кто-то — прочитал. Кто-то — позвонил Хворостову. Хворостов — приехал. Цепочка: бумага — курьер — приёмная — ??? — Хворостов. Звено „???“ — самое важное. Кто стоит между?»*

Она закрыла тетрадь. Положила ручку. Посмотрела на часы. Десять сорок пять. Хворостов ушёл двадцать минут назад.

Гистамин спал на стуле, свернувшись клубком, и мурлыкал — тихо, едва слышно, как мотор на холостом ходу, и это было — нормально, и нормальность — была — обманом, но обман — был — уютным, и Дарья — позволила. На пять минут. Пять минут — уюта. Пять минут — мурлыканья. Потом — снова — холод.

IV

В пять вечера Дарья попыталась вскрыть тело Марины повторно.

Не потому что нужно — потому что — можно. Она провела три часа после ухода Хворостова, проверяя микроскопию, перепроверяя записи, и — нашла то, что пропустила ночью. В одном из срезов — в том, что остался в морге, из кассе-

ты № 1, — в сетчатой структуре, внутри трубок, — было — движение. Не ток — движение. Медленное, ритмичное, перистальтическое, как сокращение кишечника, как пульсация сосуда, как — жизнь. Масса — двигалась. Масса — жила. Три дня после смерти носителя. Три дня — без крови, без кислорода, без питания. И — жила.

Дарье нужен был ещё один срез. Из другого участка. Из глубины, из центра, из того места, где трубки сходились, где сеть — уплотнялась, где — может быть — было что-то, что объясняло, что — двигалось, и зачем, и — кто — управлял.

Она прошла в холодильную. Открыла камеру. Полки — пустые. Все. Камера — чистая, вымытая, пахнувшая хлоркой, и хлорка — была — свежей, как будто только что — мыли, и мыли — тщательно, и мыли — не для гигиены, а для — исчезновения. Чтобы — запаха не было. Чтобы — следов — не было. Чтобы — ничего — не было.

Тела — не было.

Дарья стояла перед пустой камерой и смотрела на полки, и полки были — белыми, и белое — было — везде, и белое — было — тем же цветом, что и клиника, и масса, и свет, и — отсутствие.

Она вышла. Прошла в ординаторскую. Позвонила Тамаре Петровне.

— Тамара Петровна, тело Коваль — где?

— Как — где? Убрали.

— Куда?

— Не знаю, Дарья Александровна. Звонили. В двенадцатом. Сказали — кремация. Особое распоряжение.

— Чьё?

— Не знаю. Мне не говорят чьё. Мне говорят — делай. Я — делаю.

— Кто звонил?

— Дежурный. Из управления. Сказали — особое распоряжение, тело — кремировать, прах — передать родственникам. Я — оформила. Забрали — в первом часу.

— В первом часу.

— Да.

— Тамара Петровна. Кто. Звонил. Имя.

Пауза. Дарья слышала, как Тамара Петровна дышит — тяжело, через нос, и дыхание — неровное, и в нём — страх. Тамара Петровна, которая не боялась ничего, кроме собственной тёщи, — боялась.

— Дарья Александровна, я не могу. Мне сказали — не обсуждать.

— Кто сказал?

— Они.

Они. Не «он». Не «она». Они. Множественное число. Или — безличное. «Они» — как «там», как «наверху», как «у них». Не имя, не должность, не — звание. — Они.

Дарья положила трубку. Села. Руки — не дрожали. Холод — держал. Холод — всегда держал.

Хворостов ушёл в девять двадцать. Сказал: «Тело не трогайте. Я распоряжусь». Тело забрали в первом часу. Между — три часа сорок минут. Хворостов — или — кто-то над Хворостовым — распорядился. Тело — кремировали.

Не «перевезли в другой морг». Не «захоронили». Кремировали. Сожгли. Уничтожили. Превратили в пепел. В — ничего. В — то, что не имеет срезов, не имеет массы, не имеет трубок, не имеет — света. В — то, что нельзя вскрыть. Нельзя — посмотреть. Нельзя — доказать.

Дарья открыла тетрадь. Написала:

«Запись 2. Тело Коваль — кремировано. Особое распоряжение. Время — 13:00. Время ухода Хворостова — 9:20. Разница — 3 ч 40 мин. Хворостов сказал: „Я распоряжусь“. Распорядился — кремацией. Или — не он. Или — он распорядился — сохранить, а кто-то — переопределил — уничтожить. Или — он распорядился — уничтожить, и „не трогайте" — значило — „не трогайте, потому что скоро нечего будет трогать".»

«Вывод. Два сценария:»

«А. Хворостов — знает. Знает про массу. Знает про трубки. Знает, что внутри исцелённых. Знает — и работает с ними. Координирует. Управляет. Подчиняется. „Государство разбирается" — значит — он — часть государства, которое — разбирается, и „разбирается" — не значит „расследует", а значит — „устраивает". Устраивает — так, как нужно. Им.»

*«Б. Хворостов — не знает. Не знает про массу. Не знает

про трубки. Знает — что-то не так, чувствует, догадывается, но — не знает. И кто-то над ним — знает. И кто-то над ним — прочитал протокол. И кто-то над ним — приказал: забрать образцы, кремировать тело, закрыть. И Хворостов — исполнил. Исполнил — потому что не исполнять нельзя. Исполнил — и пришёл сам, и пришёл — потому что если не он, то — другой, и другой — не скажет „спасибо".»*

«Вопрос: какой сценарий — верный? А или Б?»

«Ответ: не знаю. Но — разница — существенная. Если А — Хворостов — враг. Если Б — Хворостов — заложник. И врага — нужно бояться. А заложника — нужно — спасать. Или — использовать.»

«Или — и то, и другое. Может быть — и то, и другое.»

Она закрыла тетрадь. Легла на кушетку. Одеяло — колючее, казённое. Подушка — тонкая. Гистамин — прыгнул, свернулся у ног. Не мурлыкал. Молчал.

И в молчании — ничего. И в ничего — не капал кран. Дарья закрутила. Тишина. Честная, глухая, без гула, без света, без — голоса.

Без голоса.

Анна — молчала. Второй день. После «почему мне не больно» — тишина. И тишина — была — не тишиной, а — отсутствием. Анна — отсутствовала. Как масса отсутствовала в теле, которое — сожгли. Как образцы — отсутствовали в холодильнике. Как — всё — отсутствовало.

Дарья лежала и думала: я — патологоанатом. Я читаю мёртвое тело, как книгу. Я вижу, как тело сдавалось, по этапам, по ступеням, и каждая ступень — след, и след — можно прочесть. Но — что если тело — не книга? Что если тело — конверт? Что если внутри — не текст, а — чужое письмо, написанное чужим языком, и письмо — не от тела, и не для тела, и тело — только — марка, только — адрес, только — обложка?

И если — так, то — что — сжигают, когда сжигают тело? Тело — или — письмо?

И — остаётся ли пепел?

V

Дарья позвонила Стрижню. Не на мобильный — на городской, в квартиру, потому что мобильный — ловили, может быть, или — не мобильный, а — всё, и всё — ловило, и всё

— слышало, и Дарья не знала, что ловит и что слышит, и поэтому — звонила на городской, и телефон — звонил, и звонок — шёл по медному проводу, по старой связи, по — тому, что было до Архангела, до тепла, до света, до — них.

— Да, — сказал Стрижень. Голос — хриплый, сонный.

— Это я. Тело — сожгли.

Пауза. Три секунды. Четыре.

— Когда?

— В первом часу. Особое распоряжение.

— Чьё?

— Не знаю. Тамара — не сказала. Или — не знала. Сказала — «они».

— «Они».

— Да.

— Образцы?

— Две кассеты — забрал Хворостов. Две — у тебя.

— У меня.

— Всё. Протокол — оригинал — ушёл наверх. Копия — у тебя. Фотографии — у тебя. Две кассеты — у тебя. Это — всё, что осталось.

— Я понимаю.

— Олег. Он сказал — «следующий, кто придёт, будет не я». Что это значит?

Стрижень молчал. Долго. Дарья слышала, как он дышит — ровно, спокойно, как человек, который привык к тому, что плохие новости — это — новости, и новости — нужно обрабатывать, и обрабатывать — нужно холодно.

— Это значит, — сказал он наконец, — что он — не последний. Что над ним — есть. И «есть» — не спит. И «есть» — прочитало твой протокол. И «есть» — решило. И решение — кремация. И решение — забрать. И решение — закрыть.

— Закрыть — что?

— Всё. Тебя. Меня. Протокол. Образцы. Всё — закрыть.

Или — убраться. Или — то и другое.

— Что делать?

— Ничего. Пока — ничего. Не звонить. Не писать. Не — говорить. Образцы — спрячу. Завтра. Не в машине — в машине нельзя. Перевезу. У меня есть — место. Надёжное.

— Какое?

— Не скажу. По телефону — не скажу. При встрече.

— Когда?

— Завтра. Утром. Где-нибудь. Не у тебя. Не у меня. Нейтральное.

— Парк. Горького. У фонтана. В девять.

— В девять.

Пауза. Потом:

— Дарья. Ты — не говорила никому? Кроме меня?

— Нет.

— Точно?

— Точно.

— Хорошо. И — не говори. Совсем. Никому. Даже — если придут. Даже — если спросят. Даже — если — «следующий». Ты — патологоанатом. Ты — делала вскрытие. Транспортная травма. Всё. Больше — ничего. Ты — не знаешь. Не знала. Не — видела.

— Я — видела.

— Ты — не видела. Ты — патологоанатом, который делал вскрытие и написал протокол. Протокол — отправила. Протокол — забрали. Ты — свободна. Ты — ничего — не знаешь.

— Я — всё знаю.

— Ты — ничего — не знаешь. Запомни это. Запомни — как мантру. Как — prayer. Как — то, что повторяешь, пока не поверила. «Я ничего не знаю». Повторяй.

Дарья молчала. Потом:

— Хорошо, — сказала она. — Я ничего не знаю.

— Повтори.

— Я ничего не знаю.

— Ещё.

— Я ничего не знаю.

— Утром. Парк. Девять.

Он повесил трубку. Гудок — длинный, ровный, монотонный, как линия на мониторе, как линия — жизни, которая — кончилась. Дарья положила трубку. Легла. Закрыла глаза.

Гистамин — молчал. Не мурлыкал. Не умывался. Лежал — и молчал, и молчание — было — другим, не таким, как обычно, а — тяжёлым, плотным, как вата, как — масса, и от этого сравнения — стало тошно, и Дарья открыла глаза, и посмотрела на кота, и кот — смотрел на неё, жёлтые глаза — открытые, огромные, и в глазах — было — не страх, не боль, не — вопрос. В глазах — было — знание. Кот — знал. Кот — всегда знал. Кот смотрел в стену, где не было ничего, и видел — что-то, и что-то — было, и что-то — знало, что кот — видит.

И Дарья подумала: может быть, кот — единственный, кто видит. Может быть, кот — видит их. Всех. Тех, кто — в небе. Тех, кто — в стенах. Тех, кто — в телах. Тех, кто — молчит. Тех, кто — ждёт.

Гистамин зевнул. Закрыв глаза. Свернулся — туже. Хвост — вокруг тела, как обруч, как — печать.

Тишина.

Честная, глухая, человеческая тишина. Без гула. Без света. Без — голоса. Без — «почему мне не больно». Без — «посмотри». Без — ничего.

Дарья лежала и думала: я — ничего не знаю. Я — ничего — не знаю. Я — патологоанатом, и я делала вскрытие, и написала протокол, и отправила, и — всё. Всё. Больше — ничего.

И — повторяла. И — не верила. И — повторяла.

И где-то наверху — над моргом, над госпиталем, над городом, над облаками, над дождём, над октябрьским серым небом — висел Архангел. Или — не висел. Или — был — везде. Или — был — внутри. В — стенах. В — телах. В —

тишине. В — молчании кота. В — словах генерала. В — гудке телефона. В — каплях крана, который Дарья — закрутила, и который — не капал, и не капал, и не капал, и тишина — была — тишиной, и в тишине — ничего, и в ничего — — — — —

Или — что-то.

Или — кто-то.

Кто — ждал.

Кто — слушал.

Кто — знал, что Дарья — знает. И — ждал.

И — Дарья — знала, что — ждал. И — не могла — ничего. И — повторяла: «Я ничего не знаю». И — не верила. И — повторяла.

И — так — до утра.

Глава 5. «Просьба, от которой нельзя отказаться»

I

Хворостов пришёл в морг через два дня после кремации.

Дарья работала. Мужчина сорока семи лет, инфаркт миокарда. Рутинное вскрытие, рутинный протокол, рутинная смерть — сердце остановилось, потому что мышца не выдержала, потому что сосуды были узкие, потому что холестерин откладывался двадцать лет, потому что человек ел жирное и не двигался, потому что — так. Всё объяснимо. Всё — по правилам. Тело сдалось по законам биологии, и законы биологии — честные, и честность — в том, что их нельзя отменить.

Дарья держалась за рутину, как за перила. Гистамин спал на стуле, свернувшись клубком, и мурлыкал — тихо, едва слышно, как мотор на холостом ходу. Радиоприёмник молчал. Третий день Дарья не включала радио, потому что радио — это новости, а новости — это Кадош, а Кадош — это нельзя, потому что нельзя думать вслух, а новости заставляют думать вслух.

Шаги по коридору. Тяжёлые, мерные, военные. Дарья узнала — по ритму, по каблукам, по весу. Хворостов. Но — не один. За его шагами — вторые, легче, мягче, не военные. Два человека.

Дверь открылась.

Хворостов вошёл первым. Впервые — не в штатском пиджаке, а в форме. Китель — защитного цвета, застёгнут на все пуговицы, на плечах — погоны. Это был знак. Знак того, что ситуация перестала быть гражданской. Что разговор — не разговор, а — назначение. Что Хворостов пришёл — не как человек, а как — функция.

За ним — мужчина. Незнакомый. Лет пятидесяти, в штатском, серый костюм, серое лицо, серые глаза. Не представился. Не вошёл — остался в дверях, за порогом, в коридоре. Стоял и — не смотрел. Не на Дарью, не на тело, не на кота. Смотрел — мимо. Как человек, который не видит, а записывает. Не глазами — памятью. Или — не памятью — чем-то другим. Дарья не знала чем. Но чувствовала: этот человек — не наблюдатель. Этот человек — свидетель. Свидетель того, что Хворостов скажет, и того, что Дарья ответит. Не для суда — для протокола. Для — их протокола.

Хворостов не закрыл дверь за собой. Оставил приоткрытой. Незнакомец в коридоре — слуховой свидетель, не визуальный. Он слышит, но не видит. Он — записывает, но не показывает. Он — есть, но его — как бы — нет.

— Воронцова, — сказал Хворостов.

— Товарищ генерал, — сказала Дарья.

Она не выпрямилась, не сняла перчатки, не отложила скальпель. Стояла у стола, руки — в крови, не своей, тёмной, свернувшейся. Холод держал. Холод — всегда держал.

Хворостов не сел. Не предложил сесть. Стоял — как стоял, как стояли все, кто приходил в морг с разговорами, а не с телами. Стоял и говорил.

— Государство оценило вашу работу. Ваш протокол — прочитан наверху. Решение — принято.

Дарья ждала. Гистамин — спал. Или — не спал. Дарья не видела — спиной к коту, лицом к Хворостову, и не могла обернуться, потому что обернуться — значило отвернуться от генерала, а генерал — это функция, и функцию нельзя поворачивать спиной.

— Должность, — сказал Хворостов. — Главный патологоанатом программы «Кадош». Подчинение — формально — координационному совету при Минобороны. Фактически — мне. Функции — мониторинг состояния здоровья исцелённых. Регулярные обследования, биопсии по показаниям, ведение реестра, отчёты. Допуск — полный. Ко всем объектам клиники, ко всем пациентам, ко всем данным. Оклад —

второе больше текущего. Служебная квартира. Охрана.

Пауза. Хворостов замолчал. Ждал.

Дарья не двигалась. Перчатки — в крови. Скальпель — на подносе. Тело — на столе. Мужчина сорока семи лет, инфаркт, рутинное, понятное. А здесь — не рутинное. Не понятное. Здесь — предложение, от которого нельзя отказаться, потому что отказ — это дверь, которая закроется, и за дверью — снаружи, без доступа, без данных, без срезов, без всего. А снаружи — Стрижень с двумя кассетами в багажнике, и больше — ничего.

Гистамин — за спиной — зашевелился. Дарья услышала: кот встал, потянулся, спрыгнул со стула. Шаги — мягкие, бесшумные, по линолеуму. К двери. Мимо Хворостова. В коридор. Вперёд — мимо незнакомца. И — дальше.

Дарья обернулась. Впервые за три года — Гистамин покинул морг при живом посетителе. Раньше — уходил от стены, от радиоприёмника. Теперь — от человека. От Хворостова. Кот — уловил что-то. Дарья не знала что. Но — уловил. И — ушёл.

Она повернулась обратно.

— Почему я? — спросила Дарья.

Хворостов смотрел. Глаза — маленькие, цепкие. Желваки — ходили. Раз, два.

— Потому что вы единственный патологоанатом в стране, который видел срез. И который не побежал с ним в прессу.

Дарья молчала. Она понимала подтекст. «Не побежал» — значит, пока контролируема. «Единственный» — заменить некем. «Видели срез» — знают, что она знает, и знание это нельзя выпустить, но можно — удержать. Удержать — внутри. Где видно. Где видно её, а не где видит она.

Мониторинг здоровья исцелённых. Здоровье — то, чего у исцелённых нет, потому что у них нет болезни, но нет и здоровья — есть отсутствие. Мониторить отсутствие. Должность, в которой она будет смотреть и не видеть, или видеть и не говорить, или говорить — и не быть услышанной. Её сажают внутрь, где видно. Клетка с открытой дверью. Можно не входить — но тогда дверь закроется, и она окажется снаружи. А снаружи — ничего.

— Одно условие, — сказала Дарья.

Хворостов — ждал.

— Я беру образцы. Регулярно. По своему усмотрению. Без согласования.

Тишина. Одна секунда. Две. Три.

Дарья считала. Три секунды — время, за которое Хворостов согласовал с кем-то выше. Не вслух — внутренне. Или — просто думал. Или — Архангел ответил. Невозможно узнать. Три секунды — и кивнул.

— Договорились.

Из папки — которую Хворостов принёс, и которая была — серой, обычной, без грифа на обложке, но с грибом внутри — он достал документ. Два экземпляра. Гриф «ДСП». Дарья взяла, не снимая перчаток. Кровь на перчатках — чужая, тёмная, и кровь на бумаге — капля, маленькая, у края. Дарья не вытерла. Пусть — будет. Капля крови на документе — единственное честное на этой бумаге.

Язык — бюрократический, гладкий, без острых углов: «научное сопровождение», «тканевые изменения», «мониторинг состояния». Ни слова «масса». Ни слова «замена». Ни слова «чужое». Бумага — чистая. Правда — в пробелах.

Дарья подписала. Рука не дрожала. Холод держал. Холод — всегда держал.

Хворостов забрал оба экземпляра. Обещал вернуть копию «после оформления». Дарья знала — копия вернётся, но без чего-то. С вычеркнутым. С добавленным. С — изменённым. Бумага не держит форму. Бумага — не срез.

Хворостов кивнул. Развернулся. Вышел. Незнакомец — за ним. Шаги — тяжёлые, мерные, военные, и — вторые, легче, мягче. Два ритма, удаляющихся, как два метронома, и — тишина. И в тишине — ничего. И в ничего — кап. Кап. Кап.

Кран. Опять.

Гистамин не возвращался. Впервые.

П

Дарья подождала минуту. Две. Три. Потом — сняла перчатки, выбросила в жёлтый контейнер, вымыла руки. Долго. Горячая вода, почти обжигающая. Она мыла и думала.

Потом — позвонила. Не на мобильный — на городской,

в квартиру Стрижня. Медный провод, старая связь, до Архангела.

Трубку сняли не сразу. Пять гудков. Шесть.

— Да, — сказал Стрижень. Голос — хриплый, не сонный — не спал. Дарья слышала фоновый звук: зажигалка. Он курил. Раньше не курил. Начал после протокола.

— Это я. Хворостов был.

Стрижень молчал. Дарья слышала, как он затягивается. Выдыхает. Дым — не виден, но слышен, как горячий воздух через зубы.

— Предложил должность. Главный патологоанатом программы «Кадош». Мониторинг здоровья исцелённых.

Пауза. Длинная. Дарья считала — семь секунд.

— Это значит, что они знают, что ты знаешь, — сказал Стрижень.

— Или — что они не знают, но хотят убедиться.

— Если бы не знали — не предлагали бы. Предложение

— это контроль. Тебя зовут внутрь, чтобы видеть. Не чтобы ты видела — чтобы тебя видели.

— Я понимаю.

— И ты соглашаешься?

— Я согласилась.

Пауза. Дарья слышала, как Стрижень дышит. Ровно. Потом — звук зажигалки. Щелчок. Тяга. Выдох.

— Тогда слушай, — сказал он. — Если ты внутри — ты можешь брать. Но всё, что возьмёшь, — будут знать. Каждый срез, каждую кассету, каждый контейнер. Они будут знать, что у тебя, и когда, и сколько. Ты — их патологоанатом. Не наш. Их.

— Я знаю.

— Значит, ты должна записывать. Не на бумаге. Бумагу найдут. Не на телефон. Телефон слушают. Не на компьютер. Компьютер читают.

— Тогда — на что?

— На диктофон. Обычный, бытовой, старый. Кассетный. Без сети, без bluetooth, без Wi-Fi. Куплю на Авито, за наличные, с рук. Не на свой аккаунт. Передам через тайник.

Дарья молчала. Стрижень — продолжал:

— Записывай всё. Каждый день. Что видела, что взяла, что заметила. Ничего не печатай. Ничего не отправляй. Только — говоришь в диктофон. И прячешь. Не дома — не в морге — не у меня. В месте, которое не связано ни с тобой, ни со мной, ни с программой.

— У меня дома есть кошачий домик.

— Что?

— Гистамину. Домик. Тканевый, с поролоном. Дно — двойное. Между слоями — пустота. Туда влезает диктофон.

Пауза. Тишина. Потом — звук, похожий на короткий смешок, выдохнувшийся через дым.

— Кошачий домик. Это или гениально, или безумно.

— Это патологоанатомично. Место, куда никто не полезет. Никто не ищет доказательства там, где спит кот.

Стрижень не возражал. Диктофон — завтра. Он купит. Передаст через тайник — не лично, не по почте. У ограды заброшенной церкви в Тушино, в нише, под кирпичом. Дарья знала эту церковь. Анна ходила в воскресную школу рядом. Это — их место. Мёртвой дочери и живой матери. Теперь — ещё и тайник.

— И ещё, — сказал Стрижень. — Если ты внутри — они будут тебя греть.

— Что?

— Тепло. Которое от них. Ты почувствуешь. В клинике — сильнее. Они будут пытаться. Не злонамеренно — просто — так работают. Как радиация. Не потому что хотят — потому что излучают.

— Я знаю. Я уже чувствовала.

— И?

— И — стискиваю зубы.

— Держи. Сколько сможешь. И записывай, когда чувствуешь. Записывай — когда.

— Зачем?

— Потому что если ты перестанешь стискивать — ты перестанешь записывать. И тогда — всё. Ты — их. Как остальные.

Тишина. Дарья стояла у раковины, вода — текла, горячая, и руки — краснели, и краснота — была — живой, и живость — была — её, и она — держалась.

— Олег. Если я перестану звонить...

— Я знаю.

— Если я перестану звонить — приезжай. Не в морг. Не в клинику. Ко мне домой. Если я не открою — взломай дверь. Если я скажу «всё хорошо» и улыбнусь — звони в полицию. Если я скажу «всё хорошо» и не улыбнусь — всё в порядке.

— Как я отличу?

— Я не улыбаюсь. Никогда. Если улыбаюсь — значит, кто-то улыбается за меня.

Стрижень — молчал. Потом:

— Я понял.

Дарья положила трубку. Вода — текла. Она закрутила кран. Тишина.

III

Через три дня — первый рабочий день в клинике.

Служебная машина — другая, не та, что возила в первый раз. Новая, чёрная, с тонированными стёклами. За рулём — не солдат, а женщина, молчаливая, в штатском. Не военная. Дарья не спрашивала, кто. Не потому что не интересно — потому что ответ не важен. Важно, что за рулём — не тот, кто был. Система ротации. Система — контроля.

Клиника — та же. Белая. Без углов. Без теней. Дарья вышла из машины и остановилась. Тепло. Сильнее, чем в первый раз. Или — она стала чувствительнее. Или — они усилили. Дарья стиснула зубы. Привычка. Рефлекс. Зубы — единственное, что она могла сжать, единственное, что не могло быть «обнулено», потому что зубы — кость, а кость — последняя ткань, которая сдаётся. Она читала это в срезах.

Кость — последняя.

Внутри — не как «научный консультант». Как сотрудник. Бейдж — белый, без фотографии, с номером. Номер — не имя. Система нумерует. Система не называет.

Её вели в помещение, которого не было в первый визит — или было, но она не видела. Маленькая комната, белая, без углов, со столом — не столом, а поверхностью, растущей из стены. На поверхности — микроскоп. Не её, другой. С цифровым окуляром и подключением к — чему? К системе. К их системе. Дарья смотрела на микроскоп и думала: он записывает. Всё, что она видит, — видят они. Она — их глаза. Их — руки.

Первое обследование. Пациентка — женщина, тридцать шесть лет, рак шейки матки, исцелена неделю назад. Дарья надела перчатки. Достала скальпель. Маленький разрез — на предплечье, два миллиметра.

Кровь — пошла. Алая, нормальная, сворачивается. Кожа — режется, как кожа. Всё — как у живого.

Реакции — не было. Ни вздрагивания, ни моргания, ни сжатия челюсти. Женщина смотрела — с интересом, как аквариумную рыбку, без участия.

— Вам не больно? — спросила Дарья.

— Нет, — сказала женщина. — Совсем.

И улыбнулась. Той самой улыбкой. Одинаковой. Тёплой. Как маска.

Рядом стоял наблюдатель. Не врач. Не медсестра. Человек в белом — не в халате, а в чём-то, что выглядело как халат, но не халат. Ткань — та же, что стены клиники. Белая. Без швов. Без карманов. Без — личности. Наблюдатель не говорил. Стоял. Смотрел. Дарья чувствовала его взгляд — не на руках, не на пациентке — на себе.

Она уложила образец в кассету. Подписала номер. Контейнер. Формалин. Но контейнер не положила в свою сумку — положила в ящик, который наблюдатель открыл. Ящик — белый, без ручки, без защёлки. Контейнер ушёл — в стену. В систему. К ним.

Дарья записала мысленно: «микроскоп — цифровой, записывает. Контейнеры — уходят в стену. Всё, что вижу, — видят они. Всё, что беру, — забирают они. Мой доступ — их доступ ко мне. Мои глаза — их глаза. Мои руки — их руки.»

Тепло. Здесь — сильнее. Дарья стискивала зубы. Стискивала — и чувствовала: при мышечном напряжении челюсти тепло слабеет. Не исчезает — слабеет. Физиология? Или — воля? Или — то, что они считают волей, — тоже их?

Она провела в клинике четыре часа. Три обследования. Три биопсии. Три контейнера — в стену. Три раза — скальпель, кровь, ноль реакции. Три улыбки — одинаковые, тёплые, не свои.

В коридоре — женщина. Молодая, исцелённая, шла навстречу. Улыбалась. Та самая улыбка. Остановилась. Посмотрела на Дарью. В глазах — не пустота. Наполненность. Но наполненность — не её. Как витрина, за которой — товар, но товар — не той фирмы.

— Вы — наш врач? — спросила женщина.

— Да, — сказала Дарья.

— Хорошо, — сказала женщина, и улыбнулась шире. — Мы вас любим.

И ушла.

Дарья стояла. «Мы вас любим». Не «я». «Мы». Множе-

ственное число. Или — безличное. Как «они». Как «там». Как — не-я.

Она записала мысленно: «исцелённые говорят „мы". Не „я". Проверить. Всегда — или иногда?»

IV

Вечером Дарья поехала домой. Впервые за долгое время — не в морг, не на кушетку, не к формалину. Дом. Двухкомнатная квартира на втором этаже, окна во двор. Обои — старые, с рисунком, который выцвел. Кухня — чистая, стерильная, как морг. Дарья знала это, и ей — нормально, и нормально — ненормально, но — нормально.

Гистамина она забрала из морга. Кот не сопротивлялся. Молча сел в переноску. Молча вышел. Молча прошёл на диван и лёг. Не на привычное место — в угол, ближе к стене. Спиной к комнате. Лицом — к стене. Как в морге, когда смотрел в бетон.

Дарья поставила кошачий домик — старый, тканевый, с поролоновыми стенками, купленный три года назад, когда Гистамин был котёнком и помещался целиком. Теперь — не

помещался, но домик стоял в углу комнаты, и Гистамин иногда в него залезал, и торчал хвост, и это было — смешно, и Дарья никогда не смеялась, но — почти. Почти — смеялась. Почти — живая.

Диктофон. Дарья забрала утром, до работы. У ограды церкви в Тушино, в нише, под кирпичом. Маленький, кассетный, «Олимп», с механическими кнопками и плёнкой, которая шуршит. Не оглядывалась. Не торопилась. Притворилась, что гуляет. Бутерброд с собой. Села на скамейку у церкви, съела бутерброд, достала из-под кирпича диктофон, положила в карман куртки. Ушла.

Запасная кассета — в коробке из-под обуви, в ящике комода, под бельём. Три слоя: диктофон — в кошачьем домике, запасная кассета — в комоде, срезы — у Стриженя. Три места, три носителя, три — ничего, если найдут одно.

Дома — вынула диктофон. Положила на стол. Смотрела. Маленький, чёрный, тяжёлый для своего размера. Кнопка «запись» — красная. Кассета — внутри, новая, шестьдесят минут.

Она села на диван. Посадила Гистамина на колени. Кот — не возразил. Лёг, свернулся. Мурлыкал — впервые за три дня. Тихо, низко, вибрирующе, как мотор на холостом ходу.

От мурлыканья — не лучше, но — тише. Тише — уже немало.

Дарья нажала «запись». Плёнка шуршала.

Она говорила. Тихо, ровно, без эмоций. Профессионально. Как в протоколе, но — голосом. Голосом, который не печатается, не сохраняется в системе, не отправляется, не перехватывается. Голосом — на плёнку. На плёнку, которая — материальная, осязаемая, физическая. Как срез. Как ткань. Как — правда.

— Дата — двадцать первое октября. Время — двадцать один сорок. Место — квартира. Запись первая.

Она говорила о предложении Хворостова. О должности, о функциях, об условиях. Дословно — насколько помнила. О незнакомце в коридоре — рост, телосложение, одежда. Отсутствие лица — не «нет лица», а «лицо, которое не запоминается». Об условии — брать образцы без согласования. О реакции Хворостова: три секунды задержки. Гипотеза: внутреннее согласование. Или — Архангел.

О первом дне. Микроскоп с цифровым окуляром. Наблюдатель в белом. Контейнеры, уходящие в стену. Вывод: всё, что она видит, видят они. Всё, что берёт, — забирают они.

О женщине в коридоре. «Мы вас любим». Множественное число. Гипотеза: исцелённые теряют «я»-референцию. «Мы» — не группа. «Мы» — отсутствие «я».

О тепле. Сильнее, чем в первый раз. Стискивает зубы. Отмечает: при мышечном напряжении челюсти — тепло слабеет. Не исчезает — слабеет. Физиология? Или — воля? Или — то, что они считают волей, — тоже их?

Пауза. Гистамин мурлыкал. Дарья молчала. Плёнка шуршала. Потом — снова говорила:

— Голос Анны. «Почему мне не больно». Третий раз. Первый — в морге, во сне. Второй — в морге, наяву. Третий — дома. Дома — раньше не было. Гипотеза: голос — не Анна. Голос — Кадош. Или — голос — Анна, но Анна — теперь — их. И вопрос не от неё. От — того, что вместо неё.

Дарья замолчала. Нажала «стоп». Плёнка остановилась. Тишина. Гистамин мурлыкал. Часы тикали. За стеной — соседи, телевизор, новости, и в новостях — Кадош, и Кадош — лечат, и лечат — всех, и все — счастливы, и счастье — одинаковое, и одинаковое — не их.

Дарья встала. Достала поролон из кошачьего домика. Положила диктофон между слоями. Возвращает поролон. Диктофон — невидим. На ощупь — не нащупывается. Гистамин залез в домик, повернулся, лёг. Мурлыкал. Кассета молчала. Диктофон — спал.

Дарья сидела на полу рядом с домиком. Гистамин — внутри. Между ними — поролон, ткань, плёнка, голос. Её голос. Единственный носитель, который — пока — её.

Она встала. Проверила дверь. Закрыто. Проверила окно. Закрыто. Проверила — что? Не знала. Проверила стены. Приложила ладонь — как в морге, как к бетону. Стена — тёплая. Обычная. Штукатурка, обои, кирпич. Тёплая — потому что отопление, потому что дом, потому что — нормально. Но — тёплая.

Она отдёрнула руку.

Тепло. Тепло — везде. Тепло — от Кадош, от клиник, от света, от — них. Тепло — в стенах, в воздухе, в — ней. Или — не в ней. В — том, что вокруг неё. В — поле.

Дарья открыла тетрадь. Не диктофон — тетрадь, потому что тетрадь — для наблюдений, а диктофон — для свидетельств:

«Вопрос 7. Тепло — не температурное. Не локальное. Поле? Если поле — радиус? В морге — не чувствовала. Дома — чувствую. Расстояние от клиники — семь километров. Поле радиусом семь километров? Или — поле — не от клиники. Поле — от исцелённых. Они — рядом. В доме, в соседнем подъезде, на улице. Тысячи. И каждый — источник. И поле — наложение. И — нарастает.»

«Вопрос 8. Если поле нарастает — когда оно станет достаточно сильным, чтобы стискивать зубы было недостаточно? Когда — не я стискиваю, а — они расслабляют?»

Она закрыла тетрадь. Положила ручку. Посмотрела на Гистамину. Кот — в домике, спал, мурлыкал. Не знал, что мурлычет на диктофоне. Не знал, что его домик — тайник. Не знал — ничего. Кот. Просто кот. Единственное существо в квартире, которое — своё. Которое — не обнулено, не перебрано, не — их. Пока.

Дарья думала: а кот? Гистамин — чувствует. Стену, радиоприёмник, Хворостова. Чувствует — раньше, чем она. Чувствует — то, чего она не может. Если кот чувствует —

значит, кот — не обнужен. Значит, кот — ещё свой. Значит — пока.

Она легла. Кровать — узкая, односпальная. Вторая подушка — на месте. Аннина. Дарья не убрала. Не потому что верила. Потому что — убрать — значит признать. А признать — значит — закончить. А она — не закончила. Она — начала.

Гистамин — в домике. Спал. Мурлыкал. Диктофон — под поролоном. Тетрадь — под подушкой. Ручка — на тумбочке. Часы — тикали. За окном — двор, фонарь, ночь. И где-то — далеко, но ближе, чем вчера, — клиника, и свет, и тепло, и они, и их голос, который говорил «не бойтесь», и она — не боялась. Она — не боялась. Она — холодная. И холод — её. И — пока — её.

Закреть глаза. Не заснуть. Слушать. Не кап — крана нет, это дом, не морг. Не вентиляцию — это дом. Тиканье часов. Мурлыканье кота. Шум за стеной. И — под всем этим, как под водой, как под землёй, как под бетоном — тишина. Тишина, которая ждала. Тишина, которая — не пуста. Тишина, в которой — слушали.

И Дарья — слушала. И не знала — слышат ли её. И — не знала — слышит ли она. И — лежала. И — ждала. И —

не спала.

Глава 6

I

Служебная квартира пахла краской и чем-то ещё — не формалином, не хлоркой, не тем, к чему Дарья привыкла за двенадцать лет в морге. Чем-то новым, нейтральным, стерильным, как операционная, в которой ни разу не оперировали. Краска — свежая, нанесённая, видимо, вчера, до её приезда. Стены — белые. Потолок — белый. Пол — светлый, ламинат, без единой царапины. Мебель — минимальная: кровать, стол, стул, шкаф. Всё новое, всё безличное, всё — как в гостинице, где никто не спал.

Дарья поставила сумку на пол. Гистамина выпустила из переноски. Кот — рыжий, с белыми лапами, с мордой, на которой вечное выражение снисходительного неудовольствия — вышел, понюхал порог, прошёл два шага и замер. Осмотрелся. Не как кот осматривает новое жильё — с любопытством, с жадностью, забираясь в каждый угол, трогая усами каждый плинтус. Гистамин осмотрелся как человек, который вошёл в комнату и понял, что в ней кто-то был. Кто-то — ушёл. И от того, кто ушёл, остался след. Не запах, не шум — что-то другое, что-то, для чего у котов есть органы,

а у людей — нет.

Гистамин не стал исследовать квартиру. Залез в кошачий домик — Дарья привезла его из морга, картонный, оббитый тряпкой, с въевшимся запахом формалина и корицы — и устроился там, спиной к комнате. Не высовывался. Не мяукал. Молчал.

Дарья знала этот знак. Гистамин так делал в морге, когда за стеной что-то менялось — когда приезжали новые тела, когда включали вентиляцию на полную, когда кто-то из санитарок включала радио на волну, которую Дарья не слушала. Кот прятался. Кот чувствовал. Кот — знал.

Она упрасковала сумку. Бритвенный станок, зубная щётка, тетрадь в кожаной обложке цвета хаки, диктофон — маленький, плёночный, купленный через Стриженя у какого-то букиниста, потому что цифровые записи можно стереть, а плёнку — нельзя, плёнка физическая, плёнка — материал, и материал — улика. Диктофон она положила в кошачий домик, в поролон, рядом с Гистамином. Кот недовольно шевельнулся, но остался.

Пропуск висел на ленте — пластиковый, с фотографией, на которой Дарья не улыбалась, с надписью «Воронцова Д. А. Научный консультант» и логотипом, которого не было ни у

одного государственного ведомства, — белый круг на белом фоне, и круг был виден только под определённым углом, как голограмма, как что-то, что не совсем здесь.

Служебная машина ждала внизу. Солдат за рулём — тот же, молчаливый, с лицом «мне приказали». Дарья села. Машина тронулась. За окном — Москва, утренняя, октябрьская, серая. И клиника — белая, без теней, без углов, — выросшая за четырнадцать минут и стоявшая уже месяц, как будто стояла всегда.

II

База данных открылась на служебном ноутбуке, который ей выдали вместе с пропуском. Ноутбук был обычный — серый, потёртый, с наклейкой инвентарного номера на крышке. Обычный — и поэтому странный в клинике, где ничего не было обычным.

Дарья открыла реестр. Цифры.

В первый день — сорок три человека. Во второй — сто двадцать. К концу первой недели — девятьсот. К концу второй — три тысячи двести. Теперь, месяц спустя — одиннадцать тысяч четыреста семнадцать. Цифры росли ежедневно, и рост был нелинейным: не арифметическая прогресс-

сия, не геометрическая — что-то другое, что-то, что Дарья не могла описать привычными функциями, как будто рост определялся не количеством приходящих, а вместимостью клиники, и вместимость — росла вместе с потоком, как река, которая расширяет собственное русло.

Она листала реестр. Столбцы: номер, ФИО, возраст, пол, диагноз — нет. Диагноза — не было. Была дата поступления. Была дата выхода. Была пометка — «исцелён». Всё. Ни истории болезни. Ни анализов. Ни снимков. Ни результатов гистологии. Ни упоминания о лечении — не было лечения, было исцеление, и между этими словами — пропасть, и пропасть была бездонной, и на дне её — ничего.

Дарья искала закономерности. Возраст — от четырёх месяцев до девяноста трёх лет. Пол — примерно поровну. Диагноз — отсутствовал, но Дарья по косвенным данным, по тем обрывкам историй, которые Стрижень собирал по интервью и репортажам, могла восстановить спектр: онкология, неврология, кардиология, инфекционные, генетические, аутоиммунные. Всё. Вся медицина. Весь человеческий атлас болезней — в одном реестре без диагнозов.

Она обратила внимание на другое. Записи появлялись сами. Она проверила: пациент входил в клинику — и через минуту, через две, запись уже была в системе. Никто не вводил

данные. Не регистратор, не медсестра, не оператор. Данные — появлялись. Кадош вели реестр. Реестр — был их. Данные — были их. Пациент — был их.

Дарья записала в тетрадь:

«Вопрос 7. Реестр исцелённых ведётся Кадош. Данные появляются автоматически — без человеческого ввода. База — их. Пациенты — их. Вопрос: кто — пациент? Человек, который пришёл лечиться? Или — материал, который поступил в обработку? Разница — между „пациентом" и „материалом" — в согласии. Пациент согласился. Материал — нет. Но может ли согласие считаться свободным, если оно дано под действием тепла, которое подавляет волю?»

III

Первые массовые обследования Дарья провела на второй день. Портативный набор: тонометр, стетоскоп, пульсоксиметр, скальпель, кассеты. Она обходила пространства клиники — не палаты, не отделения, просто — области, где люди находились. Кто-то лежал. Кто-то сидел. Кто-то стоял. Свет — ровный, мягкий, без источника — делал что-то, и Дарья не понимала что, но видеть это было достаточно: люди менялись. Бледность уходила. Одышка — уходила. Отеки — уходили. На глазах. На её глазах.

Но её интересовали не те, кто был внутри. Её интересовали те, кто вышел. Те, кто уже был исцелён. Тех — тысячи, и они жили в городе, среди других людей, и их можно было трогать, измерять, спрашивать.

Дарья обошла двадцать. Двадцать исцелённых, живущих дома, работающих, ходящих по улицам. Она приходила с приборами, с кассетами, с тетрадью. Никто не отказал. Никто не удивился. Они улыбались — той самой улыбкой, одинаковой, тёплой, — и соглашались, и отвечали, и протягивали руки для забора крови, и не моргали, когда скальпель касался кожи.

Результаты:

Пульс — шестьдесят ударов в минуту. У всех. Ровно шестьдесят. Не пятьдесят девять, не шестьдесят один. Шестьдесят. Независимо от возраста — двадцать лет или девяносто. Независимо от пола. Независимо от веса, роста, исходного состояния, от того, кто лежал в реанимации месяц назад, а кто — бегал марафоны. Шестьдесят.

Артериальное давление — сто двадцать на восемьдесят. У всех.

Температура — тридцать шесть и шесть. У всех.

Частота дыхания — двенадцать в минуту. У всех.

Дарья сидела вечером в служебной квартире, за столом, с тетрадью, с калькулятором, и считала. Вероятность того, что у двадцати случайных людей пульс совпадёт с точностью до единицы, — нулевая. Не мала — нулевая. Пульс — не константа. Пульс — функция. Функция времени суток, эмоций, физической нагрузки, кофеина, сна, температуры среды, гормонального фона. Пульс живого человека — колеблется. Это и есть жизнь: колебание. Гомеостаз — не неподвижность. Гомеостаз — динамическое равновесие. Постоянство — в изменении. Пульс шестьдесят всегда — не здоровье. Это — метроном. Это — машина, которая работает по графику, и график — не её.

Она вспомнила электроэнцефалограмму, которую видела однажды — в учебнике, на лекции, давно. ЭЭГ живого мозга — кривая, неровная, с пиками и впадинами, с альфа-ритмом и бета-ритмом, с дельта-волнами и тета-волнами, сложная, шумная, живая. ЭЭГ мёртвого мозга — прямая линия. Ровная. Плоская. Ничего.

Пульс шестьдесят — не прямая линия. Но — близко. Слишком близко.

«Вопрос 7а. Одинаковые витальные показатели у всех исцелённых. Совпадение невозможно статистически. Значит — задано. Программа. Не биологическая — алгоритмическая. Тело работает не по своим законам, а по заложенному образцу. Вопрос: чей образец?»

IV

Ссадину она заметила у мужчины, который чинил машину. Исцелённый — три недели назад, инфаркт, стент, ишемическая кардиомиопатия. Теперь — копался в двигателе «Жигулей» во дворе хрущёвки, руки по локоть в масле, лицо — румяное, спокойное, улыбчивое. Дарья приехала для контрольного обследования, и он вышел к ней, вытирая руки тряпкой, и на ладони — свежая ссадина. Кожа содрана, краснеет, капли крови.

— Упал, — сказал он. — Подскользнулся. Ничего.

Дарья попросила показать. Ссадина — неглубокая, обычная, эпидермис содран, дерма обнажена, капилляры кровят. Нормальная ссадина. Нормальная — для живого человека, который ударился.

— Я зайду через час, — сказала Дарья.

Через час ссадина была наполовину затянулась. Через два — тонкая корочка. Через три — чистая кожа. Без рубца. Без следа. Без покраснения. Без — ничего.

Дарья взяла биопсию. Маленький разрез, скальпель, касета, формалин. Мужчина не моргнул. Не дёрнулся. Улыбнулся.

— Вам не больно? — спросила Дарья.

— Нет. Должно быть?

Должно. Должно быть больно. Разрез скальпелем — больно. Всегда. У всех. Боль — не каприз. Боль — эволюция, миллиарды лет, от амёбы до человека, и каждый шаг — закреплял: не уклоняйся от вредного — умрёшь. Боль — это инструкция. Самая древняя. Самая честная. Убрать инструкцию — отпустить руки над пропастью.

Вечером, дома, с портативным микроскопом — Стрижень добыл через знакомого биолога, не новый, школьный, но работающий — Дарья смотрела срезы, фиксированные на разных стадиях заживления.

Регенерация шла не по человеческим законам. Не было

фазы воспаления. Не было нейтрофилов, не было макрофагов, не было отёка, не было гиперемии. Не было фибробластов. Не было грануляционной ткани. Не было — всего, что Дарья знала, чему училась, что описывала в протоколах двенадцать лет. Клетки просто — появлялись. Делились, дифференцировались, выстраивались в архитектуру — без промежуточных стадий. Как печать. Как клонирование. Ткань не заживала — ткань замещалась.

Дарья сидела, смотрела, думала. Плётка диктофона шуршала — она нажала «запись», когда села за микроскоп, привычка, ритуал.

«Вопрос 8. Регенерация без воспаления. Воспаление — основа заживления. Нет воспаления — нет иммунного ответа. У исцелённых нет иммунного ответа. Ткань регенерирует, но не защищается. Если придёт инфекция — что будет? Гипотеза: ничего. Они не болеют. Но не потому что иммунитет силён. А потому что — ткань заменяется быстрее, чем инфекция успевает разрушить. Или — иммунитет другой. Или — его нет, и он не нужен. Вопрос: можно ли назвать здоровым организм, который не защищается? Или это — не организм, а — механизм? Механизм не болеет. Механизм — ломается. И его чинят».

Гистамин в домике молчал. Диктофон в поролоне шур-

шал. Стена — тёплая. Дарья отдёрнула ладонь. Посмотрела на стену. Обычная стена. Отопление. Октябрь. Батареи горячие. Всё — обычно. Она — знала.

Но убрала руку.

V

Тысячи людей. Дарья видела их в клинике и за её пределами — в метро, в магазинах, на улицах. Они ходили, сидели, стояли. Они не разговаривали — или разговаривали, но мало, и слова были простые, тёплые, без острых углов. «Хорошо». «Спокойно». «Спасибо». «Мы рады». Никто не спорил. Никто не жаловался. Никто не смеялся — но улыбались. Постоянно. Одинаковой улыбкой.

Дарья искала — и не находила — эмоции. Не ждала драматизма, не ждала слёз и крика. Искала бытовые, нормальные, человеческие реакции: раздражение, нетерпение, скуку, удивление, тревогу. Нет. Исцелённый стоял в очереди внутри клиники — не на лечение, на «присутствие», как они это называли, — и стоял спокойно. Час. Два. Три. Не шевелился. Не переминался. Не смотрел на часы. Не вздыхал. Стоял — и улыбался.

Дарья вспомнила Василия Платоновича. ХОБЛ, послед-

ная стадия, исцелённый в первые дни, — тот, с которым Стрижень разговаривал в Балашихе, — тот, который пил чай в подстаканнике и говорил про «разобрали и собрали». Тогда, месяц назад, он был ещё свежим, ещё помнил боль, ещё мог — пусть бледно, пусть тускло — рассказать о том, каково это: дышать, когда раньше не мог.

Дарья нашла его. Через Стрижню, через адрес. Приехала.

Василий Платонович сидел на кухне. Пил чай. Тот же чай, в том же подстаканнике. За окном — тот же двор, те же «Жигули» на кирпичках, та же бельевая верёвка. Но — другой. Не грустный. Не тревожный. Не радостный. Просто — отсутствующий. Глаза — тёплые, пустые, как комнаты, из которых вынесли мебель. Он узнал Дарью. Улыбнулся.

— Хорошо, что вы пришли, — сказал он. — Мы рады.

— Мы? — спросила Дарья.

— Мы, — повторил он. — Все мы. Мы — рады.

Дарья отметила: «мы». Не «я». «Мы». Он говорил о себе — как о части. Не «я рад» — «мы рады». Множественное число. Не королевское — коллективное.

Она спрашивала. О семье. У Василия Платоновича была жена, дочь, внуки. Он знал это. Помнил имена. Даты рождения. Адреса. Но говорил о них так, как о таблице умножения: факт, без чувства. Не холодно — ровно. Как перечислял бы содержимое карманов: ключи, мелочь, билет.

— Вы скучаете по ним?

— Зачем скучать? Они — есть. Я — есть. Всё — хорошо.

Дарья молчала. Василий Платонович — молчал. Тишина между ними была не неловкой — неловкость требует тревоги, а тревоги не было. Тишина была — ровной. Пустой. Как комната, из которой вынесли мебель, и комната не скучает по мебели, и мебель не скучает по комнате, и обе — существуют, и существование — достаточна.

Она попрощалась. Василий Платонович улыбнулся. Закрыл дверь. Дарья стояла в подъезде, слушала. За дверью — ничего. Ни шагов, ни звука, ни чайника, ни телевизора. Тишина. Василий Платонович сидел — или стоял, или лежал — и молчал, и молчание его было не тишиной одинокого человека, а тишиной прибора, который выключен.

Вечером, дома, с диктофоном, Гистамин в домике, плёнка шуршала:

«Эмоциональное уплощение. Не апатия — апатия это серость, тяжесть, свинец. Здесь — ровность. Светлая, тёплая ровность. Как EEG-прямая. Не смерть мозга — смерть сложности. Мозг работает — но на одной частоте. На одной ноте. Нота — мажорная, тёплая, и больше — ничего. Вопрос: если убрать все эмоции и оставить одну — радость — это выздоровление или лоботомия? Ответ: зависит от того, кто решает, что лишнее».

VI

Мужчину с циррозом она нашла в реестре под номером семь тысяч триста двенадцать. Сорок девять лет, цирроз печени, алкогольная зависимость, последняя стадия. Исцелён месяц назад. В карточке — только дата. Ни слова об алкоголизме. Ни слова о кодировках, срывах, женах, детях, похмельях, попытках. Всё — стёрто. Как будто человек родился в день исцеления, и до того — не было ничего.

Дарья встретила его в клинике. Он приходил туда регулярно — не как пациент, как — проходящий. Как прихожий. Помогал. Убирал. Провожал новых пациентов. Улыбался им. Говорил: «Не бойтесь. Всё будет хорошо».

Мужчина — чистый, опрятный, румяный. Кожа — здоро-

вая, без желтизны, без сосудистых звёздочек, без печёночных ладоней. Печень — работает. Дарья попросила его сдать анализы в обычной лаборатории — не в клинике, не у Кадош, а в городской, платной, анонимной. АЛТ, АСТ, билирубин, альбумин, протромбиновый индекс. Результаты — в норме. Печень — как у новорождённого.

Но Дарья спрашивала не о печени.

— Как вы себя чувствуете?

— Мне теперь ничего не нужно. Я просто счастлив.

Она зафиксировала: «ничего не нужно». Не «мне нужно немного». Не «мне достаточно». «Ничего». Полное отсутствие потребностей. Не только медицинских — любых. Пищевых, социальных, сексуальных, творческих, бытовых — никаких. Исцелённый не хотел ничего. Не потому что подавил желание — желание отсутствовало. Как орган, который удалили. Не ампутировали — удалили, и на месте — гладкая кожа, без шва, без рубца, и не болит, и не ноет, и фантомной боли нет.

— А вы скучаете по чему-нибудь?

Мужчина думал.

Дарья считала. Пять секунд. Десять. Пятнадцать. Это — много. Исцелённые отвечали мгновенно — ответы были готовы, как заготовки, как типовые фразы, выкроенные по одному лекалу. Этот — думал. Может быть, потому что вопрос был нестандартный, и заготовки не было. Или — потому что что-то осталось. Осколок. Обломок. Какой-то осколок стекла на дне, и он пытался нащупать его — в темноте, в пустоте, в ровной, тёплой, мажорной пустоте, где не было ни боли, ни тоски, ни — ничего.

— Нет, — сказал он наконец. — Не скучаю.

И улыбнулся.

Дарья сидела напротив. Молчала. Мужчина не заполнял тишину. Ему было не неловко. Он не искал слов. Он просто сидел и улыбался, и тишина для него была тем же, чем был разговор, тем же, чем было действие, тем же, чем было бездействие. Ему было всё равно. Не в плохом смысле — в буквальном. Равно.

— А если бы вам предложили выпить? — спросила Дарья.

Мужчина не реагировал. Не вздрогнул. Не напрягся. Не отказался с отвращением, не потянулся с тоской. Просто —

посмотрел. Глаза — тёплые, пустые. Как комнаты без мебели.

— Зачем? — сказал он.

Не «нет». Не «я не пью». Не «больше не хочу». «Зачем». Вопрос, в котором не было ни желания, ни отказа. Было — недоумение. Как будто ему предложили дышать под водой. Это — невозможно, бессмысленно, и — не интересно.

Дарья записала в тетрадь, вечером, дома, Гистамин в домике, плёнка шуршала:

«Вопрос 9. Исцелённый с алкогольной зависимостью — не „бросил“. Не „вылечился“. Тяга исчезла. Не подавлена — отсутствует. Влечение, потребность, зависимость — удалены. Не как болезнь — как часть личности. Алкоголизм — не болезнь печени. Болезнь — души. Кадош вылечили печень и — заодно — удалили душу? Или — то, что я называю „душой“, — это совокупность потребностей, желаний, боли, страха, тоски — и всё это Кадош убрали. Осталось — тело, которое работает как часы. Ровно. Точно. Без сбоев. Без — человека».

Дарья видела паттерн раньше — фрагментарно, у единичных пациентов, в первые недели, когда исцелённых были десятки. Теперь, с тысячами, паттерн был виден — как рисунок, который складывается из мозаики, когда достаточно плиток. Исцелённые приходили в клинику. Снова и снова. Не потому что болели — они не болели. Не потому что их звали — их никто не звал. Они приходили — потому что хотели. Хотели — единственное, что осталось. Единственное желание. Быть рядом. Быть — в клинике. Быть — с Кадош.

Они убирали. Мыли. Провожали новых. Встречали вышедших. Улыбались. Говорили тёплые, простые слова. Это — не работа. Не волонтерство. Не служба. Это — служение. Религиозное, фанатичное, абсолютное — но без экстаза, без огня, без исступления. Тихое. Ровное. Как пульс — шестьдесят ударов.

Дарья вспомнила Марину Коваль — первую, знаменитую, «девочку, которая вернулась с того света». Как Марина вернулась в клинику на третий день. Как согласилась стать амбассадором — мгновенно, не подумав, не спросив. Тогда это выглядело как благодарность. Как порыв. Как нормальная, человеческая реакция человека, которому спасли жизнь. Теперь — с тысячами, с одиннадцатую тысячами четыреста семнадцатью — это выглядело как программа.

Исцелённые — не пациенты. Исцелённые — часть клиники. Как клетки — часть органа. Как — масса — часть тела Марины. Они не выходили. Или выходили — но возвращались. Как пчёлы — в улей. Как муравьи — в муравейник. Как — составные части — к целому.

«Вопрос 10. Исцелённые служат Кадош. Не по принуждению — по желанию. Но желание — единственное, которое осталось. Если убрать все желания и оставить одно — это свобода или программирование? Если человек выбирает единственное, что может выбрать, — выбирает ли он? Или — выполняет?»

VIII

Вечер. Дарья дома. Гистамин в домике — с диктофоном. Дарья достаёт диктофон, наговаривает. Плёнка шуршит. Голос — её, ровный, профессиональный, с чёрным юмором, который — единственное, что держит.

Все наблюдения дня. Пульс — шестьдесят. Давление — сто двадцать на восемьдесят. Регенерация — без воспаления. Эмоции — отсутствуют. Василий Платонович — «всё хорошо». Цирроз — «зачем». Служение — единственное желание.

Она замолкает. Плёнка шуршит. Гистамин мурлычет. И в мурлыканье — Дарья слышит — не Гистамина. Не мурлыканье. Гул. Тот самый. Знакомый. Из морга. Из тела Марины. Низкочастотный, вибрирующий, как работа чего-то, что не спит, что не выключается, что — работает.

Или — ей кажется. Или — не кажется.

И — голос. Не Гистамина. Не Кадош. Анны.

«Мам, им не больно. И мне — не больно. Это — одно и то же.»

Дарья замирает. Рука — на диктофоне. Палец — на кнопке. Не нажимает. Не останавливает. Слушает.

Тишина. Гистамин мурлычет. Плёнка шуршит. Больше — ничего.

Дарья нажимает «стоп». Убирает диктофон в домик. Возвращает поролон. Гистамин недовольно шевелится, но остаётся.

Она садится на пол. Спиной к стене. Стена — тёплая. Отопление. Обычное. Она — знает. Она — знает.

Но — проверяет. Прикладывает ладонь. Тёплая. Отдёргивает.

Она открывает тетрадь. Пишет — от руки, быстро, полупустым стержнем:

«Вопрос 11. Исцелённые — не люди. Не в смысле „нелюди" — в смысле „новые". Другие. Тело — человеческое. Клетки — человеческие. Но — без боли, без желаний, без страха, без памяти, без — сложности. Без того, что делает человека — человеком. Они здоровы. Но здоровье — это не отсутствие болезни. Здоровье — это способность болеть и — восстанавливаться. Способность хотеть и — не получать. Способность падать и — вставать. Исцелённые не падают. Не потому что сильные — потому что им всё равно. Им — не больно. Им — не нужно. Им — хорошо. И „хорошо" — это всё. И „всё" — это — ничего».

И ниже — приписка, мелко, почти неразборчиво:

«Кадош не лечат. Кадош — меняют. Меняют людей на — новых. На здоровых. На — безболезненных. На — служащих. Вопрос не в том, могут ли они. Вопрос — в том, что остаётся от человека, когда убрано всё, что болит. Ответ: улыбка. Ровный пульс. И служение. Этого — достаточно? Для кого?»

IX

Телефон. Стрижень. Он говорит мало — связь может быть не-safe.

— Как первый день?

— Нормально.

— Нашла что-нибудь?

— Да.

— Много?

— Достаточно.

— Записала?

— Да.

Пауза. Длинная. Потом — Стрижень, тихо:

— Ты в порядке?

Дарья молчит. Потом:

— Я в порядке.

— Ты уверена?

— Я в порядке. Мне — больно. Значит — я в порядке.

Стрижень не отвечает. Линия — тихая. Потом — щелчок. Оборвал. Осторожность.

Дарья сидит. Гистамин молчит. Стена — тёплая. За стеной — соседи, телевизор, новости. В новостях — Кадош. В новостях — счастливо. В новостях — всем — хорошо.

Дарья выключает телефон. Выключает свет. Ложится.

И думает: мне больно. Я — человек. Им — не больно. Они — не люди. Они — новые. И новых — тысячи. И тысячи — растут. И скоро — миллионы. И когда миллионы станут «новыми» — что останется от «старых»? Несколько — с болью. С тетрадью. С диктофоном в кошачьем домике. С — ничем.

И в темноте — тишина. И в тишине — гул. Едва слышимый, на грани, может быть — воображение, может быть — нет.

Гистамин в домике. Диктофон в поролоне. Стена — тёплая.

Гул.

Глава 7. «Олег Стрижень»

I

Дарья вела обход.

Она уже месяц работала «главным патологоанатомом программы Кадош» — должность, от которой нельзя отказаться, клетка с открытой дверью. Каждый день — белые коридоры, тёплый пол, пациенты, которые входили и выходили, и между входом и выходом происходило то, что Дарья теперь называла про себя «пересборкой», хотя слово было неточным и она это знала. Пересборка подразумевает, что собирают из того же материала. А материал — был другой.

Одиннадцать тысяч четыреста семнадцать. Счётчик исцелённых — в её тетради, которая теперь всегда при ней, во внутреннем кармане халата, как оружие. Она записывала каждый день. Не потому что кто-то просил — потому что если не она, то никто. Официальная статистика вела счёт ина-

че: «выздоровлений». Дарья вела свой: «переработок». Разница — в слове. Слова — важны. Слова — это то, что отличается «исцеление» от «переваривания», а разница между ними — разница между жизнью и тем, что не имеет названия.

Обход был рутинным. Дарья брала биопсии — уже привычно, уже автоматически. Скальпель — кровь — ноль реакции. Она не удивлялась больше. Удивление — это реакция на новое, а новое закончилось на третьей биопсии, когда она поняла: ткань не отвечает. Нервная система молчит. Боль — отключена. Не притуплена, не подавлена — отключена, как выключатель, как рубильник, и рубильник — не в теле пациента, а где-то в другом месте, и Дарья не знала, где.

Она брала образцы, подписывала кассеты, опускала в формалин. Формалин пах — привычно, по-домашнему, как запах квартиры, в которой живёшь давно. Клиника пахла — ничем. Точнее: клиника пахла тем, чему Дарья не могла подобрать слово. Не стерильностью, не хлоркой, не медикаментами — ничем. Как будто запах был убран, как убирают тень. Убрали запах, убрали боль, убрали тревогу. Осталось — тепло. И тепло — было. Всегда. Ровное. Не температурное — другое. То, что проникало не через кожу, а через что-то, для чего у человека не было органа, но что-то, что чувствовалось, как чувствуется чужой взгляд на затылке.

Сегодня Дарья заметила новое. Двое исцелённых, которых она обследовала неделю назад, — вернулись в клинику. Не как пациенты. Они стояли у входа, встречали новых, улыбались. Та самая улыбка — одинаковая, тёплая, как маска, которую нельзя снять. Дарья проверила по реестру: числятся как «исцелённые». Но они — здесь. Работают. Или — функционируют. Разница между «работают» и «функционируют» — в слове. И слова — важны.

Дарья записала в тетрадь:

«Вопрос 12. Исцелённые возвращаются. Не по приказу — по „желанию“. Но желание — единственное, которое осталось. Клиника не отпускает. Или — исцелённые не уходят. Разница? Если пациент не хочет уходить — это выздоровление или плен? Если птица не улетает из открытой клетки — крылья целы или воля сломана?»

Тепло в клинике было сильнее, чем месяц назад. Дарья стискивала зубы — и впервые чувствовала, что стискивает не она. Что что-то — расслабляет. Что она сопротивляется — и сопротивление требует усилия, а усилие утомляет, а усталость приближает, а приближение — это шаг, и шаг — к тому, чтобы перестать стискивать. Она вспоминала слова, которые не слышала, но знала, потому что тепло говорило — не словами, не голосом, а чем-то, что было яснее слов:

«Зачем стискивать? Стискивать — больно. Отпусти. Отпусти — и станет хорошо».

Становилось хорошо. Всем. Вокруг — все были хороши. Пациенты — хороши. Персонал — хорош. Исцелённые, вернувшиеся, — хороши. Тепло — хорошо. И Дарья — стискивала. Зубы. Челюсти. Кулаки в карманах халата. Стискивала — и шла.

Вечером, дома. Гистамин — в домике, диктофон — в поролоне. Дарья наговаривала отчёт. Голос — ровный, профессиональный, как протокол, как акт, как документ.

— Исцелённые возвращаются. Не как пациенты — как персонал. Двое за неделю. Проверяю по реестру — числятся исцелёнными. Работают в клинике. Встречают новых. Улыбаются. Та же улыбка. Тепло в клинике — усиливается. Сопротивление требует больше сил. Фантомная боль у Стрижня — analogy. Нога, которой нет, — чешется. А у меня — воля, которую хотят убрать, — чешется. И я не могу почесать, потому что почесать — значит уступить.

Пауза. Щелчок диктофона — остановка. Потом — тихо, не для диктофона, для себя:

— Я одна.

И — понимание. Одной — не справиться. Образцы — у Стрижня, в багажнике, под запаской. Копия протокола — у Стрижня, на флешке. Но Стрижень — снаружи. Не имеет доступа. Пишет колонки, которые никто не читает. И пока она — внутри, одна, стискивая зубы, — время работает против неё. Каждые сутки — тысячи новых исцелённых. Каждые сутки — тепло сильнее. Каждые сутки — стискивать труднее.

Нужно встретиться. Не по телефону. Не через тайник. Лицом к лицу. Разговор, который нельзя подслушать, потому что его нельзя услышать, потому что он — не слова, а взгляд, жест, пауза, протез на столе.

II

Олег Стрижень сидел в кресле. Квартира на Кутузовском — три экрана, которые больше не работали. Он выключил их. Не потому что перестал следить — потому что следить было незачем. Мир ликовал. Мир не хотел знать. Мир лечился.

Фантомная нога ныла. Привычно, ровно, как метроном. Бутылка — на столе. Не первая. Он не пил раньше — пил, но не так. В Сирии — после съёмки, с фиксерами, ритуально,

как причастие. Тогда пить имело смысл: день был — ужас, вечер — общение, ночь — oblivion, утро — снова ужас, и так по кругу, и круг был — жизнью, и жизнь была — осмысленной, потому что ужас был — задокументирован. Он снимал. Он писал. Он — рассказывал. А теперь — незачем.

Стрижень писал. Каждую неделю — колонка. «Диссиденты от исцеления» — файл рос, но публикаций не было. Редактор — тот, который раньше звонил первым, когда Стрижень привозил материал из горячих точек, — теперь не брал трубку. Стрижень писал в Telegram-канал — триста подписчиков, из которых шестьдесят — боты, а из оставшихся — половина исцелённые, которые заходили, чтобы писать «спасибо» и «не мешайте людям верить».

Последняя колонка — «Что мы не знаем о Кадош» — набрала сорок три просмотра. Сорок три. Он проверял. Дважды. Потому что раньше его читали миллионы. Сирия, Чечня, Донбасс — его репортажи расходились за часы, его имя было гарантией, его тексты — были. А теперь — сорок три просмотра, и в комментариях: «пойди лечись, Олег, может, ногу отрастят», и — улыбающийся смайлик, и ещё один, и ещё.

Комментарии исцелённых были одинаковыми. Не по содержанию — по тону. Тон — тёплый. Снисходящий. Жале-

ющий. «Бедный человек, он не понимает». «Пусть исцелят — и он поймёт». «Мне так жаль его». Жалость — худшее оружие, потому что от жалости не защищаешься. Спор можно выиграть. Дискуссию можно обойти. Жалость — нельзя. Жалость говорит: «Ты — не прав, но мне тебя жаль, и поэтому я тебя не ненавижу». И это хуже ненависти, потому что ненависть — признание, а жалость — исключение.

Протез лежал на полу, у кресла. Титановый, хороший, казённый, с ремнями и замком. Ноги, которой не было, — чешется. Олег не мог почесать. Фантом — боль, которой нет, в ноге, которой нет, — и это была его боль, и он не отдаст её. Ни Кадош. Никому. Потому что фантомная боль — последнее доказательство того, что он — он. Что он чувствует. Что он — страдает. Что он — живой. Не «исцелённый». Живой.

Телефон зазвонил. Не мобильный — городской. Медный провод. Старая связь. Дарья.

— Олег. Нужно встретиться. Не по телефону. Лицом.

Стрижень молчал. Дарья — молчала. Тишина в медном проводе — не такая, как в мобильном: она живая, теплая, с треском, с шорохом, с присутствием.

— Когда?

— Завтра. Вечером. Где-то, где шумно. Где нельзя подслушать.

— Бар «Флегмона» на Покровке. Полуподвальный. Громкая музыка. Тёмный зал. Я там завсегдатай. Меня знают. Не беспокоят.

— Хорошо.

— Дарья. Ты в порядке?

Пауза. Три секунды. Четыре.

— Я стискиваю.

— Держи.

Она положила трубку. Он налил. Выпил. Нога чесалась. Он не мог почесать.

III

Бар «Флегмона» был полуподвальным, с низким потолком, с кирпичными стенами, с табачным дымом, с музыкой, которая не играла, а давила, басами, через колонки, через

стены, через пол. Тёмный зал. Свет — красный, тусклый, как через марлю, пропитанную кровью. Запах — пиво, табак, что-то кислое, что-то сладкое. Не формалин. Не хлорка. Не стерильность. Запах человеческий. Живой. Грязный. Настоящий.

Стрижень — за столом в углу. Не один: с бутылкой и с ногой. Протез — на столе, рядом с бутылкой, как третий собеседник. Титановый, с ремнями и замком, поблёскивающий в красном свете. Олег был пьян. Не сильно — но достаточно, чтобы протез был на столе, а не на ноге, и чтобы не стесняться. Бывший военкор, потерявший ногу в Сирии, не стесняется. Он стеснялся другого — что его читают сорок три человека, и что мир ликует, и что он прав, и что правда — не нужна.

Дарья вошла. Серый пиджак, который велик. Тёмные волосы, собранные. Лицо без улыбки, без макияжа, без попытки. Она была не от мира сего. Не от этого бара, не от этого дыма, не от этой жизни. Она была из морга. Из клиники. Оттуда, где свет не отбрасывает теней. И она села напротив, и смотрела, и не моргала.

Олег налил ей. Она отодвинула стакан. Он не настаивал. Он знал её. Знал, что не пьёт. Он налил себе.

Разговор начался с малого. Стрижень рассказал о колонках. О сорока трёх просмотрах. О том, как мир отвернулся. Не разозлился — отвернулся. Не спорит — игнорирует. Спор требует признания, что есть две стороны. Игнорирование означает, что сторона — одна. И сторона — не его.

— Я писал про тени, — сказал Олег. — Помнишь? Здания не отбрасывают теней. Лебедев подтвердил. Физика. Лазер проходит сквозь стену. Это — не метафора. Я написал это — и сорок три человека прочитали. Тридцать семь — не поняли. Шесть — посоветовали лечиться.

— Лечение — единственное, что все советуют, — сказала Дарья. — Лечиться. Исцеляться. Зайти в белое здание, где нет мебели, и выйти — новым человеком. «Новый человек» — звучит хорошо. Все хотят быть новым. Никто не спрашивает, куда делся старый.

Стрижень посмотрел на неё. Красный свет. Дым. Бутылка. Протез.

— Дарья. Ты хотела сказать что-то. Говори.

Она помолчала. Потом:

— Олег. Я видела, что у них внутри.

Он замолчал. Бутылка остановилась на полпути к рту. Поставил. Посмотрел. Впервые за вечер — по-настоящему. Не мимо, не сквозь, не поверх — на.

— Что — внутри?

— Там нет органов. Нет печени, нет лёгких, нет сердца. Нет — ничего. Там... что-то другое. Масса. Студенистая. Молочно-белая. Она заполняет все полости. Светится в темноте. Не ткань. Не орган. Не... наше. Я смотрела под микроскопом. Сетчатая структура. Нити. Ячейки. Нет клеток. Нет ядер. Нет жизни — в том смысле, в каком мы её понимаем. И нет смерти. Это — третье. Что-то — третье.

Стрижень молчал. Долго. Протез на столе. Бутылка на столе. Музыка давила. Он трезветь. Не физически — внутренне. Как после снайпера: сначала шок, потом ясность, и ясность — острее трезвости, потому что трезвость — норма, а ясность — крайность, и крайность видит дальше.

Фантомная нога затихла. Олег не заметил. Он не думал о ноге. Он думал о массе. Молочно-белой. Сетчатой. Без клеток. Без ядер. О чём-то, что не жизнь и не смерть. О третьем.

Впервые за долгое время Олег выглядел трезвым. Глаза

фокусировались. Руки перестали дрожать. Он был здесь. Он слушал.

IV

— А я видел, как они едят, — сказал Олег.

Дарья — побледнела. Не побелела — потеряла цвет, как фотография, которую погрузили в проявитель, но наоборот: проявитель смывает. Красный свет бара — на лице, и лицо — серое, и глаза — большие, и — вопрос:

— Что?

Олег наклонился вперёд. Локти на стол. Протез рядом с локтем. Бутылка рядом с протезом. Всё на столе, всё рядом, всё на одном уровне, и всё чужое, и всё своё, и разница между «чужое» и «своё» — в том, что своё болит.

— Не в этом смысле. Они не едят ртом. У них нет рта. Не так, как у нас. Они — впитывают.

Пауза. Музыка давила. Басы через стены. Дарья не двигалась.

— Я видел, как Рафаил — тот, который главный, кото-

рый Архангел, — положил руку на умирающего ребёнка. Девочка, лет шесть, может семь. Лейкемия — не знаю, какой тип, не спрашивал, не до того было. Она лежала на носилках, бледная, худая, губы серые, и мать рядом, на коленях, и мать молчала, и молчала потому, что голос не нужен, когда всё уже сказано, и сказано давно, и сказано — «терминальная».

Он остановился. Выпил. Не запил — выпил. Как воду. Как лекарство.

— Рафаил положил руку. Просто — руку. На грудь. Не на лоб, не на голову — на грудь. И я смотрел, и я видел — я не моргал, я не мог моргнуть, потому что то, что я видел, не позволяло моргнуть, потому что если моргнуть — можно пропустить, и пропустить нельзя.

Дарья слушала. Руки на столе, неподвижные. Пальцы не сжаты. Она не стискивала. Она смотрела.

— И ребёнок... похудел. Прямо на глазах. Не за секунду. Не резко. Но — на глазах. За минуту, может за две. Щёки ввалились. Руки стали тоньше. Живот впал. Как будто из неё выкачали. Не кровь — не так. Не жир — не так. Что-то другое. Что-то изнутри. Как будто тело сдулось, но не снаружи — изнутри. И Рафаил не убирал руку. Держал. И его рука не менялась. Ничего не менялось. Только ребёнок. Тоньше.

Меньше. Легче.

Пауза. Басы. Дым. Красный свет.

— Я думал — показалось. Свет, усталость, фантомная нога, выпил накануне. Думал — галлюцинация. Потом ребёнок встал. Здоровым. Румяным. Глаза сияют. Улыбка — та самая. Мать в обмороке. А я стоял и думал: я видел, как тело уменьшилось. И тело встало. И тело улыбнулось. Но — чьё тело?

Тишина. Не барная — другая. Музыка давила, но не доставала. Между ними — пространство, и в пространстве — ничего, и в ничего — слово.

Дарья — медленно:

— Они не лечат.

Олег смотрел.

— Они перерабатывают.

Олег кивнул. Один раз. Коротко. Как подтверждающий. Как ставящий точку.

— Переваривают.

V

Долгая пауза после слова «переваривают». Музыка вернулась. Басы. Дым. Красный свет. Протез на столе. Бутылка. Два человека напротив, и между ними — слово, которое меняло всё.

Дарья — первая:

— Это объясняет массу. Масса в теле Марины — не замена. Не пересадка. Не «пересобрали». Это — продукт. Результат переработки. Они берут человека. Забирают содержимое. Оставляют оболочку. И заполняют собой. Своей структурой. Своей тканью. Своей массой. Ребёнок похудел, потому что они забрали. Материал. Энергию. Топливо. И вернули. Другое. Не то, что было. Не человека. А — себя. В оболочке человека.

Стрижень записывал. Блокнот — кожаный, маленький. Левая рука. Ручка — правая. Он писал быстро, стенографически, привычкой, выработанной в горячих точках, когда записывать нужно быстрее, чем думаешь.

— И — боль, — продолжила Дарья. — Они убирают боль

не потому, что хорошие. Они убирают боль, потому что боль — сигнал. Сигнал мешает. Сигнал говорит: «Мне плохо». Если убрать сигнал — тело не сопротивляется. Если тело не сопротивляется — переработка проще. Они не лечат. Они забирают. А «исцеление» — побочный эффект. Тело, заполненное их массой, не болеет, потому что нечем болеть. Нет ткани, которая может заболеть. Есть их структура. А их структура не болеет. Не потому что сильная — потому что чужая.

Олег остановился. Блокнот вниз. Смотрел.

— Тогда — что — Василий Платонович? Который «разобрали и собрали»? Который пил чай?

— То же. Его разобрали. Забрали внутренности. Заполнили собой. Он ходит, пьёт чай, помнит имя жены. Но — не скучает. Не чувствует. Не хочет. Потому что не он. Оболочка. Конверт, в котором чужое письмо.

Стрижень молчал. Потом:

— Тысячи.

— Десятки тысяч.

— И растёт.

— Каждый день.

Он смотрел на протез. На бутылку. На свои руки. На ногу, которая есть. На ногу, которой нет.

— Я с протезом. Фантомная нога болит. Чешется. Я не могу почесать, но чувствую. Это моё. Моя боль. Мой фантом. Моё присутствие того, чего нет. А они не чувствуют. Их фантомов нет. Потому что нечего фантомить. Не было ничего. Есть масса. Масса не фантомит.

Пауза.

— Мы с тобой, — сказал Олег, — единственные, кто знает. И мы одни.

— Не одни, — сказала Дарья. — Но вдвоём — больше, чем поодиночке.

VI

Разговор перешёл от осмысления — к плану. Стрижень был трезв. Фантомная нога молчала. Он — журналист. Он знал, что делать с информацией. Информация — оружие. Но

оружие бесполезно, если некуда стрелять.

— Публикация, — сказал Олег. — Колонка. Нет. Не колонка — документ. Протокол вскрытия. Фотографии. Срезы под микроскопом. Не мнение — доказательство. Но где? Медиа молчат. Редактор не берёт трубку. Социальные сети — тонут в «спасибо» и «исцеление». Публикация утонет.

— Утонет, — согласилась Дарья. — Но — не сразу. И не полностью. Сорок три просмотра — это сорок три человека. Из сорока трёх — один передаст. Из одного — ещё один. Цепочка медленная, но цепочка — есть. Печатай. Каждый раз, когда есть данные — печатай. Не для того, чтобы прочитали. Для того, чтобы — осталось. Чтобы — когда время придёт — было — что читать.

Олег кивнул. Записал.

— Второе, — продолжила Дарья. — Я внутри. Я имею доступ. Беру образцы. Записываю. Но я одна. И тепло. И стискивать — труднее. Каждый день — труднее. Если я сдамся — они потеряют единственного человека внутри. Поэтому — мне нужна страховка. Не одна. Несколько.

— Флешка, — сказал Стрижень. — Копия протокола. Образцы. Всё у меня, в багажнике, под запаской. Дублирую. Не

одна копия — несколько. В разных местах. У разных людей. Чтобы, если нас уберут... или «исцелят»... данные остались.

Дарья кивнула. Потом:

— И ещё. Я внутри. Я вижу, что происходит. Но не понимаю — как. Масса под микроскопом — сетчатая структура. Нити. Ячейки. Это не биология. Не химия. Не наше. Мне нужен кто-то, кто понимает. Не биолог. Не химик. Кто-то, кто понимает — другое. Кто-то, кто не думает нашими категориями.

— Лебедев, — сказал Стрижень. — Физик из Сарова. Он единственный, кто сказал «это не материал, это граница». Он единственный, кто не пытался объяснить, а признал, что не может. Это честно. Это — отправная точка.

Дарья согласилась. План: Стрижень связывается с Лебедевым. Передаёт через тайник, не лично. Образцы дублирует, прячет в новых местах. Дарья продолжает внутри — берёт образцы, записывает, стискивает зубы. И они встречаются. Не часто. Не по расписанию. Здесь, в «Флегмоне», в шуме, в дыму, в красном свете, где нельзя подслушать, потому что нечего слушать, потому что слова тонут в басах.

— И ещё, — сказал Олег. — «Диссиденты от исцеления».

Философ. Биолог. Гериатр. Все маргиналы. Все боятся. Но если дать им доказательство — не мнение, а срез — может, перестанут бояться. Может — начнут говорить. Громко. Не сорок три просмотра — а больше.

— Срез — не мнение, — повторила Дарья. — Срез — факт. Факт — упрям. Факт — не тонет в «спасибо». Факт — либо есть, либо нет. У нас — есть.

— Есть, — сказал Олег. — У нас есть. Это — больше, чем у всех, кто ликует.

VII

Они вышли. Октябрь. Холодно. Дарья — без пальто, в сером пиджаке, который велик. Олег — с протезом, который снова на ноге, и хромота чуть заметнее, потому что выпил, и тело не контролирует так, как обычно.

Москва. Ночь. Улицы мокрые. Фонари жёлтые. И где-то, над городом, над облаками, над дождём — клиника. Белая. Без теней. Свет, который не отражается. Тепло, которое не греет, а забирает.

Стрижень закурил. Последняя сигарета. Он бросал. После Сирии — бросил. Сейчас — не бросил.

— Дарья. Если ты перестанешь звонить...

— Я помню. Ты приедешь. Если улыбнись — полиция. Если не улыбнись — всё в порядке.

— Я помню. Но теперь я знаю больше. Если ты перестанешь звонить — это не значит, что ты «исцелена». Это может значить, что ты «переварена». И улыбка — не единственный знак. Есть ещё. «Мы». Если скажешь «мы» вместо «я» — тогда всё.

Дарья молчала. Потом:

— Я не «мы». Я — «я». Пока — «я».

— Пока — «я», — повторил Олег. — Хорошее слово. Самое короткое. Самое честное.

Она ушла. Он смотрел. Она не оборачивалась. Он стоял, курил, и фантомная нога болела, и боль была его, и он не отдаст. Ни Кадош. Никому.

Дым от сигареты поднимался — и таял. Тень от фонаря ложилась на мокрый асфальт — и оставалась. Всё — как должно. Свет — отбрасывает тени. Дым — тает. Боль — бо-

лит. Нога, которой нет, — чешется. Мир — работает. По правилам. По законам. По привычке.

А там, над облаками, — клиника, и в клинике — тепло, и тепло забирает, и забранное — перерабатывается, и переработанное — улыбается, и улыбка — одинаковая, и одинаковых — тысячи, и тысячи — растут.

Олег бросил окурок в лужу. Окурок зашипел. Погас. Маленький, последний огонёк — погас. Олег посмотрел на него и подумал: вот так. Вот так — гаснет. Не пожар, не взрыв, не катастрофа. Просто — шипит. И — гаснет. И никто не замечает.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.